

---

## ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

### В сей грозный час

#### I

#### *В сей грозный час*

Мы приняли войну как необходимость — и мы приняли ее без колебаний.

Колебания были невозможны, раз сама Германия с высоты своего военного и культурного могущества объявила нам и миру, что отныне она находится «в состоянии войны с Россией»; и они были бы святотатственны, эти колебания воли и ума, ибо на чашу роковых весов возлагалось не только настоящее, но и все будущее России. Мы, данный состав «России 1914 года», ее народ и правительство — мы лишь преходящая форма, мы временные жильцы в доме, который не нами начался, не нами и кончится; владея страной по случайному факту жизни, совпавшему с моментом настоящей войны, мы не собственники России, а лишь добросовестные управители ее богатствами, хранители ее вневременной и державной сущности. «Россия и сыновья» — вот сущность той фирмы, если позволено так выразиться, у которой каждый из нас имеет самый крохотный *свой* пай.

С этой необходимой точки зрения для всякого государства и народа не существует никакой границы между прошлым, настоящим и будущим — той границы, что так суживает интересы личности и делам ее придает характер суетной эфемерности. И, борясь за Россию против могущественной Германии, сознательно стремящейся к порабощению всех других народов и рас, мы боремся не только за те временные и преходящие формы, в каких отлилось настоящее нашей родины, но и за все те *возможности*, которые лежат в основе нашей молодой культуры и пророчески предугазаны нашими духовными вождями. Не за Россию эмпирическую и сущую, а за Россию мыслимую, желаемую и возможную поднял оружие русский народ.

Начав войну, мы доведем ее до конца: до полной победы над Германией; и здесь не должно быть ни сомнений, ни колебаний. Сейчас еще смутны горизонты, обманы прошлого еще сильны и железная маска Гогенцоллернов еще не спала наземь: не всеми разгадана тайна их могущества, обаяния и страха; но уже несомненно, что будущий историк с ужасом остановится перед минувшими десятилетиями как перед эпохой самой мрачной реакции в Европе. Под блеском внешней культурности, под покровом материального богатства он найдет образы ужасающего одичания и духовной нищеты; шофер, выгоняющий гуманиста, необразованный ученый, дикарь в котелке и варвар в лаборатории — вот мрачные герои вчерашнего дня. Когда Германия звала к культуре, она душила истинную культуру; но когда она звала и к свобо-

де — она душила и свободу в тисках механичности, в категорических императивах догмы, в обожании дисциплины, единственной ее любви, которая была искренна и неподдельно горяча. Не было у свободы народов более страшного врага, чем Гогенцоллерны; не было для Духа более мрачного и универсального гасильника, нежели Германия последнего пятидесятилетия; и, пожалуй, не было в истории более опасного обмана, когда бы умнейшие и честнейшие люди с таким восторгом двигались вспять, думая, что они победоносно идут вперед.

Победить Германию необходимо, это — вопрос жизни и смерти не только для России, величайшего славянского государства, все возможности которого еще впереди, но и для европейских государств. Нечем будет дышать, если победит Германия, незачем будет жить, не будет иного света впереди, как только тусклый спальный ночник мещанина; останется только проклясть свой день рождения и поскорее бухнуться в яму, идеже несть печали ни воздыхания. Победа Германии! Победа универсального мещанина, деспота в свободе, дикаря в науке, механизма в жизни! И стоило тогда проделывать весь этот несчастный «исторический путь», [начиная Голгофой и кончая восторгами и кровью девяносто третьего года,] стоило надеяться и ждать, мечтать и верить!..

Но, приняв войну как необходимость, но, все силы духа и тела направивши к победе, но, подчинив наше миролюбие верховному благу «Сыновей» России, — мы не должны ни на минуту забывать, что война есть страшнейшее из зол и из всех необходимостей — самая печальная. Любит и славит войну Германия, а не мы; мечтой о войне жила Германия, наш враг; насаждала крупповщину, творила своих лейтенантиков, устами писателей и профессоров воспевала милитаризм, братоубийство положила в основу самого существования своего — Германия. И, зная и помня это, необходимо с особенной строгостью, с особенной даже шепетильной совестливостью относиться к себе и плевелы отделять от пшеницы: то, что действительно необходимо для войны и победы, от того, что является неуместным украшением, невольной идеализацией само<го> по себе страшного и печального дела. Наше миролюбие, [наше святое и прекрасное отвращение к войне] завещано нам нашими великими мертвецами, именитыми и безвестными тружениками и рыцарями св. Духа: оно есть наш неприкосновенный капитал, радость невеселого прошлого, надежда и право на лучшее будущее. Как братоубийство положено в основу самого бытия нынешней Германии, так братолюбие есть краеугольный камень, на котором строится, согласно заветам наших учителей и пророков, молодая, крепкая Россия. И да не будем мы расточителями этого капитала, которым богата бедная Россия, бережно передадим его нашим сыновьям; щедро проливая нашу кровь, вооружимся скупостью за будущие жертвы!

И наряду с непосредственным чувством возмущения нам надо радоваться, потому что германцы так подло и гнусно ведут войну, нарушают договоры, не соблюдают «правил» войны, убивают детей и женщин, грабят и пьют, — всем этим они содействуют делу мира. Как не в меру усердные и болтливые жрецы, они выболтали и распустили по свету самую великую тайну своего надменного бога, бога войны: что он безумен, бесчестен и зол. Или они слишком верили в его защиту? Или и в этом виде своем он кажется им прекрасным? Или это и есть та честность и «гуманность» войны, на которую опираются их идеологи крупповщины?

Но как бы то ни было, отсутствием принятого лицемерия и даже полной неприличностью своею, отказом от условных правил и постановлений, своим стихийным бесчинством они предали войну, разоблачили ее «скромные тайны», уничтожили ее наивное и опасное притязание: стать чем-то вроде хирургии в больших размерах. «Хирургия» хотела бы, чтобы пули были стерилизованы, прежде чем стрелнуть ими в друга-человека, — они не стеснясь жарят разрывными: это — война! «Хирургия» желала бы, чтобы в друга-человека стреляли твердыми конфетами — они жарят своими «чемоданами», от которых друг-человек сходит с ума: это война! «Хирургия» хотела бы, чтобы выжигались только зараженные, так сказать, места, а мирным жителям можно было бы по-прежнему ходить в кинемо, — немцы откровенно уничтожают и мирных жителей: это — война! Откровенные, пожалуй даже до цинизма, германцы всеми доступными способами — а их много! — всему свету свидетельствуют, что дело войны есть злое дело, которого не скрасить никакими фиговыми листками. Злое оно было тогда, когда под железною пятой крупповщины умерла Германия мыслителей, когда во всем мире тощал народ, чтобы жирели пушки; злое оно и сейчас, когда ночные грохочущие «поезда мертвецов» наводят ужас на жителей...

Эта ночь! Эти страшные грохочущие во тьме «поезда мертвецов», управляемые Хароном; эти несчастные жители, которые закапываются головами в подушки, чтобы не слышать, и все-таки слышат: грохочет-грохочет! Эти ужасные немецкие крематории, где жгут тоже по ночам, где мертвых солдат связывают по трое и бросают в печь, как деревянные чурки, где окрест — пустыня, ибо даже сами немецкие дрессированные, но еще живые солдаты в ужасе бегут прочь.

Вот образы войны, которые дала миру трагическая Германия, сгорающая в своем собственном огне. А в то же время — и это самое здесь страшное! — вы догадываетесь, чем занят сейчас немецкий ум, бывший германский Гений? Слушая страшный грохот «поезда мертвецов», он думает о том, как в следующий раз рациональнее поставить дело погребения отработанных солдат. Быть может, придумал уже и соответствующую машину, и мы еще о ней услышим — ведь сезон еще не кончен!..

Да, это страшно, как всякая извращенность, когда человеческий ум стремится к самоуничтожению. И в противность этому одичавшему германскому гению, жалющему самого себя, русский ум должен иметь иную заботу: как сделать, чтобы в следующий раз не стало надобности в чудовищных крематориях и машинах для погребения, чтобы не германское усовершенствованное братоубийство, возведенное в перл творения, а истинная человечность и братолюбие легли в основу возрожденной жизни. *Этим* мы выполним задачу, возложенную на нас нашими великими учителями Духа, *этим* мы приблизимся к победе, которая всегда за Давидом, а не Голиафом, *этим* — несмотря на ужасы войны — мы введем нашу потрясенную жизнь в ее бессмертное русло и возмущенной совести нашей дадим единственно ее достойное удовлетворение. Как в мире, так и в войне мы не должны спускать глаз с высокой цели нашей, с звезды сияющей, с России «сыновей», мечты нашей светлой!

Радуюсь и гордясь воинством нашим, красотою жертвенной русского народа, болея их болью, трепетно ловя их последние вздохи, посланные на родину, огненными слезами оплакивая каждую каплю их бедной, на землю пролитой крови, — мы долж-

ны стоять твердо и крепко, быть надежной опорой их утомленным плечам. Перед лицом их — сильный, безумно-настойчивый, озверелый враг; за их спиной — мы. Спокойствие и силу должны чувствовать они за спиной, свет и тепло должны ощущать за спиной: пусть огромным очагом мира, любви и светлой красоты видится им далекая Россия! Не должно быть ссор и брани, злого и вредного, грубого и ничтожного, мелкого и личного. Чем ответит душа виду открытых ран? Только отказом от личного можем оправдать мы каждую новую минуту нашей жизни: ведь мы живем, когда они умирают!

Так свидетельствует Библия — книга великой мудрости и непреходящих открытий!

«...10. Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма.

11. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик.

12. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной стороны, а другой — с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца.

13. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча» (Исх., гл. 17).

В этом великом образе Моисея, воздевшего руки горе, — образ всего народа нашего: пока подняты молитвенно руки, мы побеждаем; опускаются руки — и побеждает враг; и нет оправдания в усталости, и ненарушима роковая связь между нами, сидящими на холме, и ими, что в долине проливают кровь. Надо молиться! Надо в сей грозный час поддерживать друг другу руки, когда они отяжелеют, когда тоска, и усталость, и мрачные видения смерти обессилият слабые мышцы. Надо молиться!

И молитвою всех нас, сидящих на холме, пусть будет немеркнущая память обо всем великом, прекрасном и человеческом, что добыто трудами тысяч поколений и что в сохранности должны мы передать вместе с победой России «сыновей». Это называется культурой — книгами, искусством, наукою, добрыми человеческими отношениями: это есть капитал всего человечества — «Земли и Сыновей». И этот светильник не должен гаснуть, и в поддержании его священного огня — долг наш, сидящих на холме, наша молитва. Мне эта «культура» представляется храмом, над которым бесконечно и самоотверженно трудился Дух. И пусть немецкие гениальные снаряды разрушают реймские соборы — в этом храме ни одна колонна не должна быть сдвинута с места, ни один фриз не должен быть разрушен, ни один Образ не смеет быть запятнан прикосновением кровавых рук.

Читайте книги и посещайте музеи, бывайте в театрах, дружите с людьми. Общайтесь с великими; их бессмертно звучащие речи сильнее грохота снарядов, их правдивой красоты не победить лживым красотам ночных пожаров. Крови слишком много, она подступает к горлу, в ней можно захлебнуться и потерять сознание, — держитесь крепче за великих, за пророков и человеколюбцев, их светло-веющие одежды имеют силу держать над пучиной. И когда ослепленный Богом, как все обреченные, уже безнадежно лгущий Вильгельм снова скажет о «силе нервов, которая побеждает», — противопоставьте ему силу Духа, которая не знает поражений. В поднятых к небу руках, в сердцах, вознесенных горе, — вот где наша сила, и верная помощь солдату, и обет великой победы над страшным врагом!

Надо молиться! Молитвою живы только люди: молитвою живет в живых сам Бог. Творите Бога непрестанно!

## II *Наши*

...Усталый, я заснул. Были сумрачны и серы сны, как сам серый петербургский день, мокро и подслеповато глядевший в окно. Привычно, не беспокоя слуха, грохотала улица мокрыми экипажами, и приятным казалось тепло постели; и вот — сквозь дрему и сны коснулся слуха высокий звук многоголосой песни. Я приподнялся: светло и серо, грохочет улица — и песни не слышать, — приснилось, вероятно. Но нет: вот снова человеческие голоса, много голосов; такие особенные среди механического стука колес о камень, они поднимаются высоко, что-то зовут, поднимают, как будто бы кричат: ур-р-ааа! Нет, это песня... идут солдаты.

Я распахнул окно. Солдаты. Пересекая площадь, в сизом тумане, словно я смотрел с высокой горы в долину, по мокрой и липко-грязной мостовой широким строем ритмично шагали солдаты и пели. Их было много, полк или два, я не знаю, — они шли долго, желтовато-серые, с красными пятнышками погонов, с белыми походными мешками за спиной; и так весело, так легко и стройно они шагали, что с моей горы это казалось каким-то танцем. Не было слышно ни запевалы, ни слов, но через определенные промежутки высокая и ровная волна свежих и сильных голосов заливала грохот экипажей, лязг какого-то железа. И вот эти свежие голоса поразили и очаровали меня: день был такой серый и печальный, октябрьский дождливый день, а в них звучало солнце, простор полей, зеленая глушь лесов. Ясные и молодые, они поражали не только слух, но и зрение: они виделись румяными, среди вечных сумерек города, они цветисто выделялись, как лоскут кумача в тумане. Но было в них и еще одно: вдруг все певшие, сколько их ни было, стали моими родными братьями, вошли в самое сердце неразрывной любовью и такой глубокой нежностью. Вот они прошли. Вот в хвосте проползли четыре телеги, нагруженных горочкой мешков и котомок — это их имущество, маленький и скромный багаж, над каждым местом которого трудились, собирая, и плакали женщины. И вот уже никакого следа: мелко зарябила улица и сравняла волны от большого корабля, пошедшего далеко. Ждал, не услышу ли песню еще, хоть эхо, хоть краем уха, — нет.

Тогда я закрыл окно и, нечего таиться, — заплакал. Плакал о том, что они так молоды и сильны, о том, что не жалуются они, а радостно идут на смерть, что у них такие красивые, такие славные и правдивые голоса. И о том, что они родные братья, дети родной и любимой матери — России.

### *Любите солдата, граждане!*

Любите и жалейте солдата, не забывайте о солдате, граждане, живые в мире его защитой. Каждую ночь, ложась в теплую постель, вспоминайте о нем, бодрствующем в мокрых и холодных окопах или там же засыпающем последним сном, — пусть

это будет вашей молитвой. И о нем же думайте, просыпаясь, пусть с любовной мысли о солдате начинается ваш день. Любовь преодолевает все. Тысячами незримых путей, могучими токами сердечного напряжения дойдет ваша любовь до солдата и теплом напоит его душу, сопряженную смерти, его измученное тело, оторванное от родных корней. Не заботьтесь о почте и адресе: сам ангел любви будет вашим посланцем и бережно донесет до далекого каждый ваш вздох и слезу. Верьте, верьте в силу любви!

И берегитесь сомнений, гоните страх и робкие двуличные мысли. Он узнает и это, — все дойдет до него теми же незримыми и воздушными путями. Не смущайте солдата.

Его мышцы и дух сильны вашей волей к победе, вся армия наша только образ воли народной, ее закаленное острие. Напрягайте, напрягайте волю к победе! Не из стали делается оружие — из воли к победе, из твердости духа народного куются самые острые мечи. Думайте о солдате!

### III

#### *Торгующим в храме*

Я не политик, не дипломат, не член партии, я — писатель, для которого выше всего стоят интересы справедливости и добра. Как политик, я искал бы примирительного тона, больше всего боялся нетактичности и живое чувство возмущения держал бы на трензелях; как дипломат, я округлял бы фразы и по полочкам раскладывал товар для господ реальных политиков Болгарии, — как писатель, я говорю прямо. Не ищите здесь «авторитетного источника», где взвешивают слова по грамам, — за мной нет иного авторитета, кроме всевластного чувства негодования и жгучей скорби.

Что вы сделали и что вы продолжаете делать, болгары? Славянский мир стыдится и потупляет глаза, когда слышит имя: болгарин, — так в честной семье стыдятся недостойного сочлена. У вас славянское сердце, болгары, но немецкие мозги, и язык ваш раздвоен, как у змеи. Что же делало ваше славянское сердце, пока немецкие мозги и руки везли через вашу страну орудия и бомбы для турок? Оно молчало, пока извивался язык ваших дипломатов. Оно молчит и теперь, когда уже пошли в ход немецкие бомбы и мины, уже убивают и топят русских людей, — сколько вам досталось за провоз, болгары?

Когда Европа, Азия и Африка охвачены пламенем последней смертельной борьбы, вы заглушаете голоса умирающих своими жалобами на какие-то обиды; над стонами раненых, над могилами братьев разносится торгашеский голос ваших вождей. Когда в отчем доме, который и ваше жилище, болгары! — бродит смерть и слезы осиротевших поднимаются к небу, вы торопливо предъявляете старые счета, не прочь обшарить и карманы брата-должника. У вас славянское сердце, но у вас немецкие мозги — сдерживающие ваши святые порывы, вы реальные политики — так будут теперь называться цыгане на ярмарке. Как барышники лошади, так вы засматриваете в зубы победе, толкаете ее коленом под живот: не обманула бы судьба честного болгарина, не отдаться бы раньше времени святому порыву братского чувства!

Изнывая от боли, теряя последнюю кровь, бьется за свободу маленькая, бедная Сербия: оглушенные грохотом великих сражений, ослепленные молниями немецких орудий, мало думают о ней народы. Ее театр войны — маленький провинциальный театрик, где местные трагики тоже что-то делают и даже на двух заборах приклеены две обмокшие афиши. Но на этом театрике льется та же горячая кровь, та же смерть берет героев и те же слезы льются у матерей. И никому, быть может, так не больно, так не трудно и так не страшно сейчас, как этому неблестящему, бедному полузабытому народу: ведь его соседом ты являешься, родная Болгария! Ты не забыла о нем, Болгария, и одну руку держишь ладонью кверху, а в другой руке зажимаешь нож для братского горла! Не перерезать ли его, Болгария? Когда-то во славу немецких мозгов и кармана вы уже исполнили этот кровавый танец духовной нищеты, — не повторить ли его на бис? Время так удобно. Глупая Сербия истощена, умная Австро-Германия уже собирает железные корпуса на ее границе и готовится к такому страшному пиру, перед которым побледнеют все ужасы Антверпена и Лувена; на младенцах срывает зло промахнувшийся и пойманный грабитель. И если, Болгария, ты осторожно подойдешь сзади и запустишь нож между ребрами... ведь ты знаешь, где сердце у Сербии! — то это будет очень недурная стратегия и превосходная, немецкая, реальная политика. Скорее же, в самые уста целуй брата, Болгария. Ты помнишь, как это делается? Двенадцать апостолов было у Иисуса, но только один поцеловал его в уста... но ты помнишь, конечно, как это делается и как звали двенадцатого. Но если ты забыла, если ты плохо помнишь Евангелие, спроси у Вильгельма Гогенцоллерна: он весьма начитан в Священном Писании и еще недавно с глубоким знанием дела в самые уста поцеловал невинную Бельгию... до сих пор еще горит этот поцелуй Иуды!

Скорее же, болгары, спешите, — но только не оправдывайтесь, как турок, не лгите, скройте ваш раздвоенный язык, за которым видится смертельный яд. Не выставьте на прилавок ваше славянское сердце, не жалуйтесь, что вы сами несчастны, что ваш народ — стадо баранов, которых немецкий пастух держит в загороже. Я этому не верю. Если же вы действительно несчастны и безвинны, если ваша родная нам душа стонет под игом немецких мозгов — восстаньте, как восстают народы! Не бойтесь, что это будет трудно и опасно. То, что кажется немецкими мозгами, — только шляпа на вашей голове, и малейший порыв свободного ветра унесет ее назад, в ее немецкое отечество... или склонит низко перед русскими знаменами. И тогда я поверю вам.

Но если, как баранов, вас будут держать в немецкой загороже, пока вопиет к небу братская кровь, — или поведут вас пастухи на предательство, и вы, подобно всем воюющим, начнете выселять русских из Болгарии, то первым, самым первым удалите бронзовый памятник Александру Второму, который вас создал: ведь он тоже был русским.

2 ноября 1914 года

### **Слово о Сербии**

Тяжелое занятие — распределять нужду по рангам, голодных размещать по классам, для несчастий и страдания устанавливать степени и порядки. Разорены, голодны и несчастны бельгийцы; разорены, голодны и несчастны евреи и поляки в При-

вислинском крае, да тоже и галицийцы. Несчастны, голодны, разорены и сербы — и кто осмелится сравнивать, чье горе глубже, чей голод страшнее и нестерпимей: еврея, бельгийца, серба? Какую чашею можно измерить и сравнить слезы, где те точные весы, на которых взвешивается тяжесть обиды и страдания! Все солонны слезы.

И с широкой отзывчивостью и добротой, которая облагородит эпоху кровавейшей из войн и мертвую воду разрушения превратит в живую воду любви и созидания, наш народ отнял еще крупицу у малой сытости своей и помог полякам, помог евреям и бельгийцам. Но сербам он еще не помог — а плохо дело у сербов, очень плохо. Не смею сравнивать — но едва ли не хуже, чем у кого-либо на свете.

Правда, мы не слышим оттуда ни жалоб, ни громких криков о помощи. Наоборот, каждый день придушенный голос бодро сообщает: «мы ничего, мы держимся. Деритесь там за общее святое дело наше, а мы ничего, мы держимся». И только вслушавшись в хрипоту этого далекого и бодрого голоса, только заметив, как изо дня в день слабеет он от непрерывной потери крови, — вы почувствуете в нем и глубочайшую тоску, и отчаяние — почти что ужас! С Сербии началась война: первым убитым в этой великой борьбе народов был серб; и этого не забудет и это отметит история. И с того первого убитого серба и до того серба, которого убили вчера, убивают сегодня, сейчас — четыре месяца мужественно бьется маленький, одинокий героический народ со своим королевичем Александром, дважды раненным, чуть не убитым, воскресающим лишь для новых битв и подвигов.

Посмотрите на карту: за спиною Польши — могучая Россия; рядом с Бельгией, протягивая ей братские руки, стоят богатая Франция и могущественная Англия. А Сербия? — взгляните, как одинока она среди стран, как далеко ей до единственного ее друга — России, какой у нее темный, страшный и подозрительный сосед; да и бедно все кругом, как бедна она сама. Но жалоб не слышно: каждый день хрипит через телеграфное агентство придушенный, слабеющий и бодрый голос: «Мы ничего, мы держимся — деритесь спокойно!»

Но долго ли?

О бедности Сербии мы много знаем, но еще больше рассказали о ней германцы. С плоской насмешкой сытого мещанина, с уверенностью тупых людей, что это и остроумно, и забавно, — в тысяче карикатур нам показали «Сербию»: ее лачуги, ее босых солдат и оборванных министров, ее королевича Александра, который сам — это верх изящного остроумия — сам штопает свои штаны. Но чем шире улыбалось плоское лицо германца-мещанина, тем большей жалостью и скорбью наполнялось наше сердце: ведь мы и сами не из богачей, знаем и голод, и нужду, и на одно палаццо у нас миллион придавленных к земле лачуг. Нас бедностью не насмешишь! И если это правда, как утверждают, что сербы-солдаты идут в бой босыми, что у них нет ни денег, ни врачей, ни лекарств, то тем печальнее, тем больнее. Говорят дальше, что их «стратегические» отступления — маневр мужественных бедняков, у которых нет снарядов для стрельбы, и только поэтому они отходят. Говорят еще дальше, что все уже мужчины на войне, на войне старики и подростки... да откуда же и взяться народу в маленькой стране, которая только что выдержала трехлетнюю войну и весь цвет свой уже отдала кровавому Молоху? Остались старики да молодая завязь, не успевшая и развернуться, а биться надо, до самой смерти надо биться.

Ведь не забудьте, что с сербами *не войну* ведут. Не забудьте, что это называется *карательной экспедицией*: идут на Сербию не войска, не солдаты, не офицеры, а палачи, предводительствуемые обер-палачами. В войне есть хоть какие-нибудь правила, маленькие поблажки, хоть внешняя корректность: народ в стороне, войска дерутся с войсками — и это война. Но где границы и пределы для карательной экспедиции, единственная цель которой жестоко наказать и утратить? Но если германцам в Бельгии надо все же выискивать предлоги, чтобы иметь право повесить сотню граждан и сжечь собор, — то каких еще предлогов искать карателям? С видом подлого бескорыстия с самого начала гордо заявили австрийцы, что они не хотят «территориальных приобретений» — им нужны только сербская кровь, сербский ужас, сербское несчастье. Они сами истцы, они же сами и судьи, они же и палачи — вот кто австрийцы в этом позорном походе на изнемогшую страну. Их циничный лозунг: сколько осилю, столько и истреблю, — естественно, что слабые, которых легко осилить, идут в первую голову на этом празднике австрийского правосудия.

Неслыханное дело! Сознательно, с голым цинизмом, которому нет примеров, перед глазами всего цивилизованного мира, выпустив чуть ли не афиши, — австрийцы целую страну вознамерились превратить в один сплошной красный эшафот на тысячу квадратных километров, каждое дерево — в виселицу для серба, каждую голову — в материал для палача. Неслыханное дело!

И там, где они могли, они исполнили то, что обещали. Их программные зверства так ужасны, что просто неловко как-то говорить, чувствуешь себя перенесенным в какой-то почти нереальный мир, куда можно заглянуть на мгновение, но долго оставаться — не выдержит сознание. «Было так страшно, что я не чувствовал страха», — говорит покойный Семенов, описывая гибель при Цусиме броненосца «Суворов», на котором находился. И здесь, в Сербии, совершаемое австрийцами так ужасно, что уже почти перестает чувствоваться как ужас; есть для нашей чувствительности граница, за которою человек просто мертвеет и как бы не верит свидетельству собственных глаз. И я не стану приводить фактов; они собраны, зарегистрированы, протокольно удостоверены (как это сделал Вандервельде по отношению к германским зверствам в Бельгии) и в свое время, когда восстановится честный суд Европы, получат свою оценку.

Одно только нужно повторить и подчеркнуть: здесь австрийцы не стеснялись. Призванные карать и ужасать, они встретили перед собой не бельгийцев и французов, за которыми даже их надменная мысль признает некоторые человеческие права, — они встретили славян, низшую расу, нечто среднее между гориллой и человеком, что-то вроде колониального бушмена или малайца. А в этом отношении рука у всех европейских культуртрегеров достаточно набита, и можно представить, до какой роскоши безграничного карательства дошли австрийцы — и что *еще* они обещают Сербии, стягивая корпуса у ее границы! Газеты сообщали, что семь корпусов готовятся к вторжению в Сербию; семь же корпусов — это ровно 280 тысяч палачей-карателей, которые не ищут «территориальных приобретений», а только сербской крови, сербского ужаса, сербского несчастья! Как обнажится сербская земля! Какая новая пустыня откроется на Балканском полуострове, если немцам удастся их план, и иная, более могучая и светлая сила не остановит их перед первой ступенью неслыханного эшафота.

И наш добрый и славный народ, который уже помог бельгийцам и полякам, не должен забывать о замученной, истощенной, молчаливо-героической Сербии. Ее бедность — не порок, который нужно скрывать и которого следует стыдиться, и если загорелое, сухое тело мужественного серба сплошь покрыто рубцами от турецких ятаганов и немецких зазубренных штыков, то его руки сплошь в рабочих мозолях. Вся его историческая жизнь — это жизнь сурового мученика-трудолюбца, у которого в одной руке заступ, а другую он поднял для защиты головы: его жизнь — это непрерывный мартиролог мучеников за свободу, бесконечная вереница распятых, распятых, распятых! Он минуты отдыха не знал за столетия, он не изведал счастья простой безопасности, — когда тут было нажать богатства, асфальтовые улицы готического Вертхейма и Аллею Побед! Да, он беден и бос, и руки его в мозолях, и тело его в шрамах, и душа его налита неиссякаемой скорбью, — он, серб, у которого дети, вместо школы, должны драться за свободу и жизнь. Необходимо помочь ему, необходимо!

И вот еще чего не забудьте, думая о Сербии: в Сербии нас *любят* — горячей, искренней, почти нежной любовью. Попробуйте, кто бы вы ни были, проехаться сейчас по ее окровавленным полям и городам... и вам покажется, что вы владетельный князь, пророк, сам ангел Божий — такую любовью и почтением окружают вас эти измученные люди! Последний ковер постеляют они под ваши русские ноги, отнимут от своих голодных уст последний кусок хлеба — и с божественной щедростью бедняка угостят вас, драгоценнейшего гостя из милой России. Молясь Богу, кого они упоминают в молитве прежде своих детей? — Россию. Тысячи лет ожидая солнца, в какую сторону смотрят их распятые, куда посылают слезы и вздохи матери их замученных детей? — туда, где за синим туманом светятся в небе золотые купола московского Кремля.

Нас так мало любят вообще и так мало уважают: варвары! — еще недавно кричал на нас К. Либкнехт, — варвары, вас надо выкинуть за Урал! И тем более должны мы дорожить этой нужной и доверчивой любовью; в ней залог не только сербского, но и *нашего* возрождения. Множьте любовь! Множьте любовь! Если другие народы борются за мировое господство, за куски земли и моря, то нам еще надо завоевать *уважение* — множьте любовь, множьте щедрость! Множьте великодушие ваше!

Помогите сербу, который молча истекает кровью.

11 ноября 1914 г.

#### IV *Бельгийцам*

Наступит некогда день — и в Берлин вступят войска союзных держав.

Войдет русская армия. Огромная, серая и трудовая, спокойная и неторопливая, она идет долго по асфальтовым мостовым, отбивая привычный тяжелый шаг. И мрачно смотрит на нее мрачный Берлин: не для того он делал такие прямые и превосходные улицы, чтобы по ним маршировали русские солдаты. И противно Берлину: он, хотевший быть самым сильным, он, мечтавший стать последним Римом и владычество свое утвердить над всем миром, — он оказался слаб, он побежден. Те, кого всю жизнь он считал низшей расой и варварами, непочтительно шагают под Бранденбургер-Тор, и... о, варвары! — даже не делают попытки хоть что-нибудь

разрушить, хотя бы нос один отбить у мраморных героев Аллеи Побед! Если нельзя быть победителем, то недурно стать мучеником, но нет — и этого удовольствия не хотят доставить безжалостные варвары из России. Противно Берлину!

Войдет французская армия. Легко и весело шагают французы, такие странные и такие неприличные на улицах мрачного Берлина в своих старомодных красных шароварах; радостью горят их черные глаза и с обидным любопытством рассматривают они свежие памятники прусской столицы, перешептываются, смеются. И горько Берлину: те, кого он спокойно и давно признал вырождающимися и обреченными на бесславную историческую гибель, те, кого он презирал, — непочтительно шагают по его надменным улицам — горько Берлину! Но ведь и побежденный может быть прекрасен: и не о красоте ли Берлина шепчутся французы? Хоть и вырождающиеся, они кое-что понимают в красоте городов, у них у самих есть Париж, и вежливой похвалой они могли бы несколько загладить неприличие своего вторжения в мировой город. Конечно, разрушать они не станут, они слишком выродились для такого бодрого занятия, но похвалить они обязаны! Но нет: смотрят насмешливо и удивленно на красоту Фридрих-Штрассе, на строгую готику Вертгейма, на грозных львов у памятника Вильгельму; и — это уже невежливо, это уже вандализм и варварство! — от души хохочут на Аллее Побед, останавливаются, даже идти не могут от смеха. Горько и противно Берлину!

А вот и англичане — «наши кузены с того берега», проклятые торгоши, изменники культуре, — невыносимо смотреть на них мрачному Берлину! Как будто и не изменяли культуре: все та же твердая поступь, какую уже давно измерили они землю, все тот же спокойный и гордый взгляд, все та же отвратительная манера держаться господами даже в Берлине. Равнодушно шагают по прекрасным мостовым, не замечая, как изумительно выметены они для нынешнего парада, — или они притворяются равнодушными от зависти? Нет, — даже позевывают от берлинской скуки, смотрят на маленькую Шпре и спрашивают негромко: это река? Обидно и горько мрачному Берлину.

Но кто эти, которые идут дальше? — кто эти, перед кем преклоняются все знамена, кого приветствуют почтительным молчанием и русские, и англичане, низко склоняют головы, обнажают их, как в церкви? Кто эти — маленькая кучка бледных и измученных людей? Лица их мужественны и опалены порохом, но шагают они устало, как после бесконечно дальнего пути. Кто эти, кто даже не смотрит на красоту Берлина, но перед кем незаметно пригибается сам Берлин, становится ниже, как будто падает на колени?

Ах да, — это бельгийцы... то, что осталось. И стыдно становится мрачному Берлину.

А кто этот, кто впереди, перед кем склоняются сами мужественные и несчастные бельгийцы? Скромный и простой, мужественный и кроткий, молодой, но уже с морщинами горя и страданий на красивом лице, — кто этот рыцарь с открытым челом и печальными глазами? Это бельгийский король Альберт, вновь бельгийский король. И стыдно становится Берлину! Как перед жертвой насилия, восставшей из гроба, — опускаются угрюмые глаза, стыдом и тоскою заливается ожесточенное сердце. И скупыми слезами плачет Берлин: о чем-то безвозвратно утраченном плачет Берлин — о былой чести своей, о былой славе и честном имени своем, о погибшей Германии плачет Берлин.

Но вот весеннее солнце выглянуло из туч. Мудрое, самый ласковый луч свой, золотой и теплый, оно бросило на прекрасную и благородную голову того, кто в невыносимых страданиях за свой народ тщетно искал смерти под немецкими снарядами, — берегла его судьба для иной, прекраснейшей доли. Золотой короной легли лучи на скромной голове его, и ниже склонились знамена, и больше стали скупые слезы угрюмого Берлина.

И тогда... этому трудно поверить, но это правда, — и тогда кто-то по-немецки крикнул королю Альберту: *гох!* На него взглянули — да, это немец кричал; смотрел на короля Альберта, плакал открыто и кричал: *гох!* «Это измена», — сказали одни. «Нет, это совесть», — сказали другие. А тот все кричал и плакал: и вскоре присоединились другие голоса и также кричали: *гох!* И чем громче становился приветственный возглас, тем менее побежденным казался Берлин, терял свою мрачность, золотился солнцем, как всякий другой Божий город. Смущенно и приветливо улыбался бледный король, и все громче становились клики: в измене самой себе возрождалась Германия, звала назад былую славу, свое честное имя.

---

...Конечно, это моя мечта, — отчего и не помечтать о справедливости, о совести народной, о Божьем суде! И не один я так мечтаю. Очень возможно, что все мы ошибаемся, и нет вовсе справедливости, и нет совести, и не войдет король Альберт в Берлин, и уже навеки погибла свободная Бельгия. Неисповедимы судьбы народов, и уже давно не посылает на землю пророков разгневанный Бог. Кто знает? Кто знает?

Но что, кроме мечты нашей, можем мы послать благородному народу и его благородному королю? Истерзанный войной, выгнан народ из своих трудовых жилищ и брошен в море, — что, кроме мечты о справедливости и Божьем суде, можем послать ему мы!

## ***Бельгия*** **Монолог**

Я — Бельгия.

О, посмотрите на меня, добрые люди! На мне белые одежды, так как я невинна перед Богом мира и любви: не мною брошен факел брани, не мною возжжены огни пожаров, и слезы матерей и вдов не мной исторгнуты из их очей.

О, посмотрите на меня, добрые люди! Вот это красное, здесь, на груди, что так страшно пятнает белые одежды, — это рана моего сердца, источающего кровь. В самое сердце поразил меня предатель, в грудь мою вонзил он меч — о, какой жестокий, какой безжалостный удар!

Я лугом шла вот с этими цветами, я пенью птиц внимала в высоте, я гимны воссылала Богу, создавшему цветы... кому мешал мой путь среди цветов и песен? В самое сердце поразил меня предатель, и белые поникли лепестки, их оросила кровь...

Белая роза! Белая роза, моя нежная, белая роза!

О, посмотрите же на меня, добрые люди. Это не корона, это водоросли на голове моей, это зеленые травы с морских лугов, которыми укрыло меня море. Куда мне было пойти? И я пошла к моему старому милому морю, я на колени пала перед его могучими валами, и я молила тихо: укрой меня, мое милое, старое море, мне больше некуда идти. В доме моем свирепый чужеземец, мои кроткие дети преданы смерти — и видишь там какие страшные огни?... это горят мои старые храмы. Защити меня, спаси, укрой меня, мое милое, старое море, мне больше некуда идти!

Так я сказала и заплакала горько-горько! — и укрыло меня, бесприютную, мое старое, милое море.

И я из моря пришла.

Я из моря пришла, чтобы сказать вам, что я жива.

О, посмотрите на меня, добрые люди: я — Бельгия, и я жива. Жив мой дорогой король Альберт, и жив народ бельгийский!

Нет, это не слезы в моих глазах, я плакала довольно: священным гневом пламенеет сердце!

Нет, это не рана на моей груди — это красная роза, неугасимое пламя войны, обет священный.

Красная роза! Красная роза, моя страшная красная роза!

Нет, — это не морские травы на голове моей: это корона Бельгии, венец свободного народа.

Где мой меч?

Во имя короля, во имя закона, во имя свободы поднимаю я меч!

На помощь Бельгии, народы!

Боже, храни царя и Россию, отдавшую мне кровь.

Боже, храни короля и Британию, отдавшую мне кровь.

Вперед, дети прекрасной Франции, формируйте батальоны — спешите, спешите!

На помощь Бельгии, народы!

## **О Бельгии**

### **К анкете для «Книги короля Альберта»**

У войны два лица: тусклое и мрачное лицо германца, отверженного Богом, — и светлый лик бельгийца. Мраку и плоскости души германца противостоят горные высоты бельгийского духа. Было бы страшно, было бы невыносимо жить и дышать под черным небом войны, — если бы не светило со стороны Бельгии незаходящее солнце. Когда я подумаю, сколько глаз оплакивает Бельгию; когда я подумаю, сколько сердец забилося мужеством и силой во имя ее, сколько омертвевших душ воскресло на ее Голгофе; когда я представлю себе, сколько детей в мире будут учиться благородству по окровавленным страницам ее истории, — ее страшный жребий мне кажется завидным. Отверженный Богом, безумный, безумный германец, чье лицо тускло и мрачно, чья жестокость ужасна, чьи мысли бескрылы! Бешенством войны напоила тебя судьба, как илота, ты внушаешь отвращение детям спартанцев. Ты еще

мог бы остаться солдатом, не коснись ты Бельгии; в честной борьбе с равными ты мог бы внушить гнев, но не презрение. Но ты поднял руку на слабого, огражденного твоим же словом, всю ярость и силу ты обратил на попрание свободы — и кто же ты, германец?

Благословение всего мира над головой Бельгии, увенчанной терновым венцом.

### **Франция — прости!**

Мне хочется напомнить одно прекрасное стихотворение Беранже. Называется оно: «Прости!». Умиравший поэт прощается с Францией: вот все его содержание.

Я не знаю точной даты, когда стихотворение написано; умер Беранже 16-го июля 1857 года, и можно думать, что к этому времени относятся и стихи. Все те же роковые для Франции июльские иды: в половине июля началась в 1870 году война с пруссаками, в половине июля началась и теперешняя страшная война. Роковой месяц, роковые числа!

Конечно, никакого отношения и ни к какой войне стихи не имеют. Но смысл их так глубок, чувство так широко, что и нынешний человек найдет в них отражение себя; и нынешний больше, чем вчерашний. Человек любит родину и человек умирает; и умирая — все свои мысли отдает родине... не в этом ли и весь нынешний день?

Стихотворение очень коротко, и просто трудно понять, как могло уместиться в коротких строчках такое богатство души, столько нежности и любви, такая сила и такая печаль, такая мужественная гордость и непоколебимая вера! Всеми человеческими голосами звучит душа поэта: здесь и лепет умирающего ребенка, прильнувшего к груди матери, — ведь перед лицом родины каждый из нас, до самых до седых волос, остается ребенком; здесь и слабый шепот истомленного жизнью человека; здесь и гремевший голос мужа, вставшего на защиту оскорбленной родины. Строфой из Марсельезы кажутся эти слова, звенящие как медь:

— Когда стонала ты в руках иноплеменных,  
Под колесницами надменных королей,  
Я рвал знамена их для ран твоих священных,  
Чтоб боль твою унять, я расточал елей!..

И разве это не сегодняшний день, и разве не стонет Франция, как встарь, под колесницами «надменных королей»? Но вот и завтрашний день, к которому обращено все упование мира, залитого кровью:

В твоём падении заря зажглась — и время  
Благословения племен должно прийти,  
Затем, что брошено твоею мыслью семя  
Для жатвы равенства грядущего. Прости!

Но сильнее слез, сильнее печали и мужественной гордости звучит некоторая особенная нота, как бы всепокрывающий голос вешнего рога: чувство неоспоримого бессмертия. Нет смерти для того, кто любит родину; есть прощение, есть прощальные слезы и заветы, есть погребальная песнь, но смерти нет! Ибо случилось ли смертному, кто бы он ни был, *так* властвовать над смертью:

Чтобы к сынам твоим с мольбой дошел мой пламень,  
Удерживая смерть на пройденном пути,  
Своей гробницы я приподымаю камень.  
Рука изнемогла. Он падает. Прости!

...Недавно произошел такой замечательный случай. При осаде Циндао первым был убит капитан Косума, и Микадо — уже после смерти — произвел его в следующий чин майора. Майор Косума. Смерть, где твое жало? И не было бы для меня ничего удивительного и странного, если бы некоторое время спустя майор Косума был произведен в полковники и генералы, и так до самого высшего чина, — разве на самом деле не все <ли> равно, что он умер?

Это сделали японцы, очаровательные молодые люди культурного мира, каким-то чудом насилия над временем и историей принесшие в сохранности крепкий и ясный римский дух, его ясную, как солнце, любовь к отечеству, его краткий и выразительный язык. Ни на одном языке слово «отечество» не звучит так по-римски, как на японском; и напрасно Вильгельм II начертал на своих крупновских пушках: *pro patria et gloria*\*: у него нет *patria*, и *gloria* не ему будет принадлежать!

И для тех из нас, кого смущает кровь и смерть, пусть послужит благородным утешением вечно живое стихотворение давно умершего Беранже. Вот оно полностью (в переводе В. Курочкина).

Час близок. Франция, прости. Я умираю.  
Возлюбленная мать, прости. Как звук святой,  
Сберег до гроба я привет родному краю.  
О! Мог ли так, как я, тебя любить другой?  
Тебя в младенчество я пел, читать не зная,  
И видя смерти серп над головой почти,  
Я в песне о тебе, дыханье испуская,  
Слезы, одной твоей слезы прошу. Прости!

Когда стонала ты в руках иноплеменных,  
Под колесницами надменных королей,  
Я рвал знамена их для ран твоих священных,  
Чтоб боль твою унять, я расточал елей.  
В твоём падении заря зажглась — и время  
Благословения племен должно прийти,  
Затем, что брошено твоею мыслью семя  
Для жатвы равенства грядущего. Прости!

Я вижу уж себя зарытого, в гробнице.  
Кого любил я здесь, о! будь защитой их,  
Отчизна, вот твой долг пред бедной голубицей,  
Не тронувшей зерна на пажитях твоих!  
Чтобы к сынам твоим с мольбой дошел мой пламень,—  
Удерживая смерть на пройденном пути,

\* за отечество и славу (*лат.*)

Своей гробницы я приподымаю камень.

Рука изнемогла. Он падает. Прости!

...Если бы я был композитором, я написал бы музыку к этим святым словам; если бы я был певцом — я пел бы их. Теперь я могу их только напомнить.

## V

### Крестоносцы

#### I

Конец ноября. Выпал снег, остановились реки. Зима. Ненастье в Пруссии и Галиции: то холодный дождь, секущий лицо, как град, то снег и морозы. Холод на Кавказе. Глубокая осень, канун зимы во Фландрии. Залиты водой окопы и по всему побережью свирепствуют те страшные морские бури, когда ветер валит с ног человека и по целым ночам ревет не смолкая темное разъяренное море.

Конец ноября. Что бывало прежде в эту пору? Жизнь на природе замирала; загнанная ненастьем, вся культурная городская Европа забиралась в тепло и открывала свои сезоны. Как бывали шумны и веселы города, более светлые ночью от электрических солнц, нежели в тусклые короткие дни, — Париж, Берлин, Лондон, Вена! Переполнены городские подземные и надземные дороги, толпы в театрах и концертах; пора законодательных собраний, живого обмена мыслей, литературных и художественных новостей, пора широкого и энергичного общения и творчества.

А что теперь с Европой? Ее нельзя узнать, ее трудно вообразить. Насквозь пронизана она войной и вся, с подошвы до вершины, содрогается непрерывной дрожью, как гора во время извержения вулкана. Нет такого тихого уголка, где не слышалась бы война, нет места на всем протяжении Европы, где не царили бы волнение, страх, беспокойство, где не гадали бы о завтрашнем дне — одни в тоске и ужасе перед возможною потерей, другие с упорною надеждой на какой-то свет, *который должен воссиять*. Никто не живет, все ждут. Символическая завеса будущего, которой никто не видал, хотя говорят о ней все, теперь придвинулась к самым глазам; почти осязаема рукою ее мистическая ткань. И никто не хочет и не может жить — все ждут.

#### II

*Свет, который должен воссиять*. Он должен быть. Он близок, он где-то здесь, за черной линией горизонта, его мерцанием напоена вся ночь войны, он близок — свет, который должен воссиять. Его отражение на бледных лицах, его блеск в глазах умирающих на поле битвы; угасая, самый мрак смерти наполняют они сиянием веры.

Кто знает? Быть может, это только мираж, фата-моргана, один из тех красивых обманов, которыми полно странствование человека по пустыне. Призрачное озеро, у которого не напиться воды ни одним жаждущим устам. Заведет, обманет и погубит; и только трупы, распростертые на песке, расскажут о том, какая трагедия долгих блужданий, горячей веры и мертвого обмана разыгралась на этом месте. Кто знает! Но это факт неоспоримый, что еще никогда обман — если это обман — не облакался в такие правдивые и убедительные формы. Но это факт, что еще ни разу со време-

ни, быть может, крестовых походов не верило человечество так *исступленно*, так всеобще и сильно — в свет, который должен воссиять. «С мечом в руке, с крестом в сердце»... не лозунг ли это новых *крестоносцев*, поднявшихся на освобождение гроба Господня?

И как странно, что после многих сотен лет *Иерусалим* снова становится ареной кровавой борьбы, уже упоминается в статьях и корреспонденциях; древний Иерусалим, уже давно стоящий вне истории, почти уже не город, а только знак, нечто музейное, неподвижно застывшее под мертвым колпаком почтения. А пройдет еще несколько этих необыкновенных дней, и смотришь: уже показались аэропланы над Иерусалимом, в Гефсиманский сад брошена бомба, пулеметы «работают» на плоских кровлях, где еще хранятся незримые следы божественных ступней, у Кедронского потока кавалерия поит коней. Рассеются ли чары воспоминаний? Кто окажется сильнее: жужжащая ли современность в виде стремительного аэроплана — или великие образы минувшего, тысячи лет молчаливо царящие над тихой колыбелью христианства?

И снова появились «неверные», гортанным кличем зовут к священной войне, воскрешают все те же прошедшие времена. Как будто не достаточно было одних германцев в их христианском домино, чтобы всему миру сделать ясным смысл похода: красно-кровавою чертою подчеркнул их Ислам, красными фесками украсил головы «белокурых бестий». И это настоящая правда, что нет у турок лучшего друга, нежели Германия; и вовсе не так смешон и глуп пронесшийся в Турции слух, что Вильгельм II, император германский, вознамерился принять Ислам: в этом немецком «вице», над которым немало посмеялись сочинившие его Миллер и Штольц, нечаянно сказала большая и страшная мысль.

### III

— На освобождение Гроба Господня! — кричали крестоносцы, садясь на корабли, чтобы плыть в неведомую лазурную даль. И то же кричали женщины и дети, без оружия, без плана, без малейшего сознания опасности и риска толпами шедшие на борьбу с сарацинами. Вера была их единственной силой, мечта — единственным оружием, — и сколько их погибло, этих мечтателей, на долгом и страшном пути, и как мало было глаз, узревших священный город всечеловеческой мечты!

— На освобождение Европы от германского милитаризма! — кричат современные крестоносцы, охваченные той же испуганной верой в близкий свет, который должен воссиять.

Восемь столетий прошло от той наивной поры до настоящих дней; все страшно изменилось по виду; другие люди, другое оружие и одежда, иные слова, иная углубленная мудрость, прошедшая сквозь сомнения и вопросы. Искусилось в знании человечество и, вооруженное крупновскими орудиями и летательными машинами, уже не так легко верит в сказки, научилось улыбаться скептически, жить и умирать без веры в другое, более осмысленное бытие. Но страдать оно не перестало, а страдая, не перестало оно и мечтать о лазурных неведомых далях, где в солнечных лучах сияет белизною «праведный город»; и взрывами своей мечты время от времени колеблет оно землю.

Но мечта иррациональна: у нее нет ни точных границ, ни твердых контуров, как и у праведного города, сияющего на горе, — кто видел план и название его улиц? И мечта шире всякой программы, ее содержание не втиснешь ни в какие формы, ее потаенного смысла не исчерпаешь целым лесом параграфов; больше настроение, чем мысль, свои цели она ставит за всеми видимыми горизонтами. Пусть крестоносцы наших дней провозглашают нечто, совсем как бы точное: «освобождение Европы от гнета германского милитаризма», — по существу своих стремлений, в ярости веры, в восторге добровольной жертвы, они ищут и ждут не меньшего, чем те, кто восемь веков назад шел безоружным на «освобождение Гроба Господня». Энтузиазм — вот то необыкновенное состояние, которым охвачены сейчас и армии и целые народы.

Где пресловутая холодность уравновешенных англичан? Где былая скаредная осторожность жизни французского мещанства? Где незыблемая, как бы навеки утвержденная, меркантильность анонимных бельгийцев? Где наша роковая нерешительность, где мнительность наша, подрывающая силы, колеблющая волю? Как факелы среди ненастной ночи, буйным огнем пылают души.

Сегодня все утро под моим окном черными на снегу толпами проходили призванные ополченцы — с пением, с свистом, с непрерывным восторженным и беспредметным ура. Чему они так рады? Почему не голосят их женщины, которые быстро семянят рядом, еле успевая за их размашистым шагом? Почему и вся улица радуется, встречая их, провожая, приветствуя и кланяясь? Но посмотрел я ближе на их побледневшие, изменившиеся лица и вижу:

лежит на них отражение света, *который должен воссиять.*

#### IV

И сегодня же один большой, контуженный, слабый, преждевременно поседевший офицер говорил мне с глубокой верой:

— Разве мы для корысти воюем? Нам ничего не нужно. Это война освободительная.

И у него были голубые в морщинках глаза, глаза хорошего и честного человека, и скромно белела шея за широким воротом халата, и легко можно было представить, как он дома, прежде, ласкал своих детей. Про «освободительную» войну он говорил спокойно, без волнения и готовности спорить, говорил, как про факт, который установлен твердо и давно всем известен. И я не стал его спрашивать дальше, что понимает он под словом «освободительная» — я знал, что все другие слова, которые он может сказать, только ослабят и уменьшат силу этого слова-звука, переведут его на какую-то плоскость, где станет оно и скучным и колючим, как фея, обратившаяся в ежа.

И я знаю, что кого бы я ни стал спрашивать из нынешних крестоносцев, я ни от кого не получу ни вполне ясного, ни исчерпывающего ответа о целях настоящей войны, хотя ответов будет и есть множество. Возрождение Польши, война против войны, борьба с империализмом и милитаризмом, воссоздание национальных единств, борьба христианства с язычеством, культуры материальной и механической с культурой живой и духовной... да, все это входит в мечту, но не исчерпывает ее. Она шире всех формул, как бы широки они ни были, ее сияющая цель впереди

всех видимых и близких целей, ее божественной песни не передать плоскими земными словами. Кто знает? Быть может, то, к чему *сейчас* стремятся, наступит только через тысячелетия, быть может, оно есть *завершение* всего пути, — а уже тянутся к нему мириады рук, тянутся, вот-вот схватят... призрак ускользающий!

Но, иступленно веруя, взрывом мечты своей неслыханно потрясши землю, с яростью отрекаясь от вчерашнего дня, — всеми народами поднялся мир на новый крестовый поход, идет в святую землю, хочет хоть раз единый узреть усталыми глазами «праведный город», светло сияющий на высокой горе, среди далей лазурных. И либо нынче весь мир безумен, либо близок свет, который должен воссиять!

И пусть темна, встревожена, полна смятения и страхов поднятая войной Европа, пусть никто не живет, а все только ждут — мерцанием близкого света напоена вся ночь войны.

### *Ното*

Недавно один мой знакомый, захворав, строго наказывал родственникам:

— Если я умру, то велите газетчику, чтобы он носил газеты на кладбище. Пусть носит и вечерние, а то, хоть и вечером, но едва ли меня пустят на Невский. Время такое, что я не могу без известий.

Да, время такое — удивительное время, когда сама смерть страшна лишь как прекращение подписки на газету. Что делается! Что делается на свете!

Давно ли был тот необыкновенный день, когда человек впервые полетел на крыльях — и, затаив дыхание, с восторгом, со слезами, с трепетом смотрели на него оставшиеся на земле. Летит человек! Летит! Верить не хотели; и те, кто сам не видел, расспрашивали у видевших, правда ли, и как это происходит, и высоко ли поднимается, и похож ли на птицу... на орла, например? Да, правда; да, высоко поднимается, едва глазом видно; да, похож на птицу и скоро будет занесен в орнитологию, как *homo volans*\*. Недавно только *homo sapiens*, теперь уж и *volans*, как поднимается в цене старый *homo*!

Тысячи тысяч лет неистово завидовал человек птицам, тысячи лет, бескрылый, стоял на берегу голубой бездны, откуда светит солнце, и безнадежно, как проклятый, мечтал о неизведанных просторах. Это не была мечта одного или двух, это не был романтический порыв нескольких — это была мечта всего человечества, категорическое требование его венценосного духа. Стоящий во главе всего звериного рода, самый сильный, самый смелый, самый добрый и самый злой, самый великодушный и самый хищный, первый в лесу и первый на море — мог ли человек успокоиться, пока не станет шефом и всех крылатых армий, начиная с орла и кончая мотыльком? Иначе его мог оскорбить безнаказанно всякий воробей.

И вот он — полетел. Это было недавно, почти на днях, и все мы помним и чувство гордости нашей и большого страха, огромного беспокойства и тревоги: ведь такой маленький, такой хлипкий и почти что жалкий оказался *homo volans* среди воздушных бездн, видимой границей которых являются светочи отдаленнейших звезд. Каждый

\* человек летающий (*лат.*)

летающий шел как бы на смерть; так все это и знали, так и смотрели в его зачарованное лицо, когда среди европейских толп проходил он к своему «аппарату» и кланялся: *ave, Caesar, moriturus te salutat!*\* И ободренный уличный мальчишка, для которого его царской ложей служила верхушка забора, *тоже* рукоплескал обреченному: частичка народа, он знал, *чья* повелительная воля погнала человека на эту новую арену.

Откланявшись, *homo* летал и, полетав несколько, падал. Так один, так и другой, и сотый: летал — и падал, разбиваясь насмерть. Ломались крылышки, что-то случалось неладное с хвостом, или вдруг переставало биться бензиновое сердце машины — и *homo* падал. Сурово встретил его воздушный океан и без милосердия единым дыханием опрокидывал игрушку; и трепетно было смотреть на одинокого «*homo volans*», когда спокойный ветер жестоко и опасно кренил всю его непрочную икаровскую механику — невольно тянулись кверху руки, чтобы заклясть природу.

И если бы в эту опасную минуту — вы представьте это! — кто-нибудь из земных взял дальнобойное ружье и, внимательно прицелившись, — вы можете представить это? — выстрелил в летающего, когда он борется с ветром; или привезли бы на поле огромную, стоймя стоящую пушку и деловито навели ее на одинокого в небе... то что бы это было? Слов бы не нашлось, чтобы заклеймить такой невероятный поступок, не выдержали бы такого зрелища ни сердце, ни сознание. Впервые поднялся ребенок на ножки и пошатываясь делает первые очаровательные шажки, и замирает сердце родителей — и вдруг — что-то огромное и страшное, грузовой автомобиль, примерно, — нарочно наезжает на него, чтобы раздавить, смять, уничтожить... Ужасно!

Но вдруг — вы представьте и это! — летающий с легкостью голубя-турмана кувырнулся в воздухе и расправился в нем еще шире и свободнее; и плавно закружил над головами; и что-то бросил... и дрогнуло все внизу от громоподобного взрыва, звенят какие-то стекла, чей-то стон и вопли, дым, огонь — убийство! И это сделал он — невинный младенец на нетвердых ножках, юнейший *homo volans*. Ужасно, непонятно и фантастично, как сон.

Да, — а именно это и делается сейчас, и называется оно войной в воздухе, воздушным сражением, или еще проще: воздушной разведкой, обыденным явлением, малозначительной подробностью, для которой привычный человек не трудится и глаз поднимать. Перепутались и передрались и *homo sapiens* и *homo volans*, стреляют, изобретают, убивают, падают.

И в том, что *такое* явление может казаться обыденным и трактоваться зауряд, — и заключается необыкновенность и огромность нашего времени, его текущих дней. Не успев взлететь, уже вступил в воздушную войну человек; еще только вчера сам себя едва державший в воздухе и покорно падавший при первой случайности, сегодня он полным хозяином летает под градом пуль и шрапнелей, дерется, разрушает города, грозит Лондону и Парижу, бросает вниз насмешливо вызывающие записочки... способен заниматься даже пустяками. Удивительное время, когда вдруг всеми своими гранями засверкал старый *homo*, по всем предметам сразу держит мировой экзамен: и на злобу, и на великодушие, и на смелость, и на ум — *homo sapiens*, *homo volans*, — первый в лесу, первый на море... первый в воздухе! Старый чудесный *homo*, самый загадочный и великолепный из всех зверей мира!

\* славься, Цезарь, идущий на смерть приветствует тебя! (лат.)

И сейчас на мгновение я перестану быть стороной воюющей: ведь дерутся только виды, а род наш один, под одной фамилией «человека» известны мы не только далекому Марсу, но и простой дворовой собаке. И, как член рода, я во всем и навсегда разделяю его судьбу, плачу его долги, получаю по его счетам, с ним живу и с ним погибну в последний день земли. Одна у нас совесть, одна и честь — не по личности и не по виду, а по всему роду будут судить на Страшном Суде. Когда немцы совершают гнусности, то это плохо не для одних немцев: всю фамилию *человека* позорят их дурные поступки; по Лувену *все человечество* должно надеть траур и покаянную одежду, и никто не смеет отговариваться, что он лично не участвовал в разрушении и даже противился ему.

Но и доблестное, что совершается теперь, должно восприниматься всеми нами как наша *общая* гордость, кто бы его ни свершал — турок, англичанин или немец. Не умаляйте доблести врага и радуйтесь ей, держите высоко честь старой и знатной фамилии *homo*.

И меня несказанно восхищает великолепная смелость молодого *homo volans*, юнейшего шефа всех крылатых армий. Обычно невысокий по своему земному чину — поручик, лейтенант, просто механик и солдат, он летает «с поручениями» так просто и спокойно, как если бы действительно он родился птицей. Вокруг него — головокруженье пустоты, провал, бездонность, облака и птицы; под ним — вражеская земля, и каждый дымок на ней — это выстрел, направленный в него: не ласкою и приветом, а огнем и пулями дышит на него земля. И он летит, как лесная птица под выстрелами тысяч охотников, уходит выше, ломает линию пути, чтоб обмануть, — а сам смотрит своими глазами «*homo sapiens*», фотографирует, рисует, запоминает, изучает. Нет здесь ни соблазнительных рекордов, ни призов, ни веющих флагами восторженных трибун; ничей дружеский и любовный взгляд не провожает его и не умоляет небо быть милостивым к дорогому *homo volans*, — один он совершенно. Вокруг — головокруженье пустоты, весь видимый мир, земля и небо, жаждут его смерти, все враждебно и напряжено... а ведь у этой птицы человеческое сердце. Что же это за сила — старый *homo*? Где границы его смелости? Где конец его вызовам на бой — есть ли враг во вселенной, кому он не бросил бы перчатку?

Вон что-то показалось... летит навстречу... А, это другой *homo volans*. Сейчас они подерутся в воздухе, будут кружить, забираться выше, целиться и стрелять, стреляющие птицы. А не то просто налетит один на другого, как наш Нестеров, и оба грохнутся наземь, ибо эта стреляющая фантастическая птица презирает смерть, зная что-то высшее, чем она.

Большой пробел есть в нашей космографии: неизвестна дорога в ад и вообще точное его местоположение. А будь оно известно — *homo* так же регулярно, с сигарой в зубах, путешествовал бы в ад и жарился на его адских огнях, как теперь шатается он по Ривьере — или мерзнет на полюсах — или «летает» под выстрелами. То, что из *ада* возврата нет, не многих бы смутило.

Вот он каков, старый великолепный *homo* — первый в небе и первый в аду!

## VI Восхождение ⌋

Есть два новых факта в русской жизни, таких радостных и чудесных, что на них страшно даже останавливаться мыслью: так они похожи на призрак, на сказку, на сонную прекрасную грезу, которая может разлететься прахом при первых лучах туманного рассвета. И первый факт-призрак — это внезапное отрезвление России, явление, вся грандиозность которого ничьим, кажется, еще не охвачена взглядом. Да и как объять необъятное?!

Стал трезвым народ, «веселие которого пити» — мрачное веселие, полное крови, слез, бабьего и детского крика, грязи и невыносимого стыда; народ, который в год пропивал миллиард рублей и ровно на столько же приобретал страданий; народ, литература которого на добрую треть посвящена водке и пьяным; народ, на Сенной площади потерявший Помяловского. Одной этой страшной жертвы достаточно, чтобы проклясть сивуху, как проклинал ее в жгучих страданиях сам Помяловский, — а сколько еще, а сколько еще?! Трудно найти человека среди наших полутора миллиона, чья личная жизнь так или иначе не была бы отравлена сивухой: либо сам пил, либо отец, либо дети, кто-нибудь из близких, из друзей; проклятый круг, ужающая безысходность!

Благословенно все то, что углубляет жизнь, просветляет сознание, поднимает ум и чувство на новую высоту. Жизнь как гора, где с каждым новым шагом в высоту открываются новые дали, светлейшие горизонты, прозрачайшее небо. И есть высокий пояс, чудесный пояс, высоко над низинами земли, где теряется разница между страданием и радостью и оба они гармонически сливаются в одно мощное чувство полета, окрыленной высоты. И если вино еще способно иногда родить вдохновение, если есть счастливые души, которые окрыляются им, — то наша родная сивуха обескрыливает даже орлов, дурманит самое ясное сознание, держит пленный дух в мрачных пропастях и провалах. Она возвращает человека к хаосу, она ввергает его душу в ад; помутившийся разум бессильно трепещет и содрогается среди ужаснейших кошмаров, чудовищных грез, диких и нелепых призраков, томительных, как бесконечный бред сумасшедшего. Наш пьяный всегда сумасшедший, смеется ли он или плачет, целуется или дерется; и оттого он одновременно всегда отвратителен и страшен. Если вино, понижая моральное чувство (а оно *всегда* делает это), еще способно повышать деятельность интеллекта, то сивуха убивает и нравственность и ум. Один за другим рушатся моральные устои, воздвигнутые тысячелетними усилиями очеловечиться, по нисходящим ступеням человек быстро спускается в потемки зверства, в мутную темь скотства: над развалинами храма уродливыми и страшными образами вырастают инстинкты пола и разрушения, гримасничают чудовищные хари, к чьему-то горлу тянутся хищные пальцы. А ум? Разорванный на клочки, как облака ветром, сгустками, туманом проносится в высоте, обрывками мыслей дает хаосу вид жизни, лжет, обманывает, теряется — иногда вопит в ужасе мгновенного просветления.

Но вот приходит утро, наступает отрезвление после мучительного сна, и начинается страшная работа совести, нашей русской совести, самой жестокой и непри-

миримой среди ее европейских подруг. Наказание идет следом за преступлением, вместо европейской Катцен-яммер, боли физической, начинается боль души, мучительное раскаяние, почти всегда близкое к отчаянию. От пароксизма безумия к пароксизму отчаяния — вот обычный путь русского пьяницы; сплошной надрыв, сплошная безбожная чепуха, в которой нет ни начала, ни конца, ибо отчаяние снова заливается сивухой, а сивуха снова родит отчаяние и сосущую тоску. И нет в этих страданиях ничего творческого — так, одна жестокая бессмыслица: бегает человек по огненному кругу, как на корде, пока не смиловывается смерть и не ввалит с размаху в могильную яму. А не пить дальше, раз начал, удержаться, остановиться, дать зарок, — где найдешь такую волю?

Характерная наша черта: в противоположность самодовольному — о, слишком самодовольному — германцу русской человек всегда чего-то стыдится. В этом хорошего мало: стыд понижает жизнеспособность, ослабляет силы, он противоположен не только глупому и мещанскому самодовольству, но и чувству самоуважения, честной гордости, без которых немислимо никакое творчество. И мне кажется, что одна из главнейших причин нашего самоубийственного стыда — все эта же проклятая сивуха со всеми ее исчадьями, вечный дурман и грязь, после которых воистину зорно смотреть на свет Божий. Какое тут самоуважение, когда на улицу, бывало, выйти жутко... когда, случалось, и среди интеллигентнейших россиян чувствуешь себя не то как на скотном дворе, не то в буйном отделении желтого дома.

Отрезвить пьяную Россию — это как бы сызнова сотворить ее, это вдохнуть в ее огромное и безалаберное тело такую необъятную мощь, такую светлую, животворную и необъятную силу, перед которой ничтожными пустяками, накожной болезнью, чесоткой от грязи, кажутся все другие ее беды. Отрезвить пьяную Россию — это всему цивилизованному миру принести драгоценнейший дар: могучего союзника в его высоких устремлениях и целях, светлую богоносную душу, цены которой мы и сами еще не знаем. А какая это будет радость и нам, и всем добрым людям, когда улыбнется *печальный Гений России!*

И оттого так трудно верить, что это случилось, что это началось... так страшно думать! У великого Бога земли Русской велик и его антипод — Дьявол земли Русской, страшно это!

## II

И хотя второе чудо наше и радость наша фактически не связаны ничем с отрезвлением России; находится как бы в другом плане, зачалось и родилось в иной действительной области, — для меня мистически соединяются воедино: трезвая Россия и свободная Польша, для которой осуществилась «мечта ее дедов и прадедов». Разве это не первая улыбка печального гения России — Польша, открывающая нам свои объятия, доверчиво, как у груди матери, ищущая защиты у серого солдата-мужика, прижимающая свое прекрасное лицо к его шершавому солдатскому сукну?

Ведь надо знать, как *мы* мучились неразрешимым «польским вопросом», чтобы понять нашу радость... скажу без преувеличения, что сами поляки едва ли могут радоваться так, как мы. Не велико удовольствие: ходить потупив глаза, чтобы не встретить укоризненного взгляда, притворяться глухим, чтобы не услышать рокового во-

проса, мычать, как немому, чтобы уклониться от бессильного и кривого ответа, — а сколько этого удовольствия испытывали мы по отношению к полякам! И снова тот же стыд, что и от совести помрачающей сивухи, настойчивое, обессиливающее, прискорбное неуважение к себе.

Но здесь я невольно умолкаю и опускаю глаза. Если уже выходит из могилы Лазарь, трехдневный мертвец, обвитый пеленами, то тем печальнее кажутся другие, еще не раскрывшиеся могилы. И пока я их вижу, я не могу смотреть прямо в глаза; и пока я слышу стоны заживо погребенных, я хочу быть глух — и я буду им. Ибо, что отвечу я вопрошающим?

Под широким небом России так много места всем. Прекрасная страна добрых, трезвых и сильных людей не должна бояться призраков, хотя бы и освященных тысячелетней давностью. Освободительница угнетенных народов, какою ныне признала и уважает ее Европа, Россия должна признать своими родными детьми всех тех, кто кровью своею щедро утучняет ее поля, кто жизнью своею служит ее могуществу и славе. Так много места всем под широким небом России!

## **Освобождение**

### **I**

В московских газетах опубликован протест «писателей, художников и артистов» против вандализма германцев<sup>1</sup>. Подписанный уважаемыми именами, этот документ должен был бы иметь большое, даже историческое значение, как голос избранных людей, неподкупных стражей совести и достоинства народного. Если в обычное

---

#### **1 ОТ ПИСАТЕЛЕЙ, ХУДОЖНИКОВ И АРТИСТОВ**

К родине и ко всему цивилизованному миру обращаем мы наш голос.

То, чему долго отказывались верить сердце и разум, стало, к великому стыду за человека, непреложным: каждый новый день приносит новые страшные доказательства жестокостей и вандализма, творимых германцами, в той кровавой брани народов, свидетелями которой суждено нам быть, в том братоубийстве, что безумно вызвано самими же германцами ради несбыточной надежды владычествовать в мире насилем, возлагая на весы мирового правосудия только меч. Мнится, что, забыв свое славное прошлое, возвращается Германия к алтарям тех жестоких национальных богов, для победы над которыми воплощался на земли Единый Милосердный Бог. Войска же ее как бы взяли на себя низкую обязанность напомнить человечеству, что еще жив и силен древний зверь в человеке, что даже народы, идущие во главе цивилизующихся народов, легко могут, дав свободу злой воле, уподобиться своим пращурам, тем полунагим полчищам, что пятнадцать веков тому назад раздавили своей тяжелой пятой античное наследие: как некогда, снова гибнут в пожарищах драгоценные создания искусства, храмы и книгохранилища, сметаются с лица земли целые города и селения, кровью текут реки, по гудам трупов шагают одичавшие люди; и те, из уст которых так тяжело вырывается клич в честь своего преступного повелителя, чинят, одолевая, несказанные мучительства и бесчестие над беззащитными, над стариками и женщинами, над пленными и ранеными. Пусть же впишутся в Книгу Судеб злодеяния эти неизгладимыми письменами. И да внушат они нам только одно страстное желание вырвать из варварских рук оружие, навсегда лишит Германию той грубой мощи, на достижение которой устремилась она все свои помыслы. Уже прорастает широко брошенное ее рукой семя национальной гордыни и ненависти; пламенем может перекинуться ожесточение к другим народам. И громко раздадутся тогда голоса ослепленных гневом, — голоса требующих мести и отрекающихся даже от всего великого и прекрасного, что было создано гением Германии на радость и достояние всего человечества. Но заставим себя помнить гибельность таких путей: ибо тот черный грех, которым покрыла себя Германия, обнажая меч, и то зверское, что дозволила она себе в опьянении борьбы, есть неизбежное следствие мрака, в который добровольно вступила она, ныне поощряемая даже своими поэтами, учеными, вождями общественными и политическими. Противники ее, несущие народам мир и освобождение, воистину должны быть руководимы лишь священными чувствами!

мирное время такой коллективный голос редко выходит за пределы родной страны и обладает значительностью «события внутреннего», то теперь, когда каждое из борющихся государств представляет собою как бы единое лицо, он приобретает характер и значение факта международного, далеко выходящего за границы России. Ведь не самих же себя, не русских только, хотят убедить писатели в вандализме германцев, а желают естественно в протесте своем миру предоставить суд над позорными деяниями, перед миром выражают чувство своего негодования. Так же поступают с своей стороны и германцы: и их известное заявление-протест, подписанное также писателями и учеными, рассчитано на широкое международное распространение и такое же влияние.

К сожалению, опубликованный протест едва ли может достигнуть столь важной цели и в силе своей не соответствует важности задачи. Причины этого кроются и в содержании его и в форме, решительно неудачной. Написанный языком вялым, мало похожим даже на обычный язык сильной русской литературы, составленный в выражениях неопределенных и даже темных, не сразу и не совсем понятных, полный какой-то внутренней нерешительности, он прискорбно напоминает обычные решения наших интеллигентских третейских судов, где судьи, в своем мягкосердечии, больше всего стараются о том, как бы не обидеть ни той, ни другой стороны. Очень возможно, что такая форма является отчасти вынужденной: естественное желание собрать больше подписей, и притом людей, далеко не одинаково мыслящих, заставило составителей смягчить весь тон, сгладить резкие углы и самый коренной смысл заявления разбить на несколько частных и порой даже противоречивых смыслов. Однако если это так, то приходится пожалеть дважды: и о напрасном труде составителей, и о том, что даже в оценке настоящей войны, со всеми сопутствующими ей явлениями, <такими> как вандализм немцев, все же находится достаточное число разномыслящих в самой среде руководителей общественной мысли, в среде наиболее правомочных представителей народной совести нашей. Кстати, я не заметил, чтобы петроградские газеты перепечатали указанный протест; судя по этому печальному признаку, едва ли протест дойдет до заграницы, — тем более что в переводе может окончательно затемниться и без того достаточно неясный смысл заявления (протестом называю его я, а в подлинном он вовсе не имеет определяющего заглавия, именуясь просто «От писателей, художников и артистов»).

Я очень извиняюсь перед уважаемыми товарищами-литераторами, подписавшими заявление, за эту мою невольную и запоздалую критику, бесплодную и отчасти даже вредную по отношению к совершившемуся факту; и только важность переживаемых событий и то чувство ответственности, которое я испытываю наравне с остальными, позволяет мне выступить с отдельным мнением, которое в некоторых частях даже совпадает с мыслями их общего заявления.

Так, я всецело и без колебаний присоединяюсь к первой части заявления, где выражено возмущение «жестокостями и вандализмом» германцев, — но уже в этой первой фразе я натываюсь на слово, которое, на мой взгляд, совершенно не соответствует правде переживаемого. Там сказано: «...творимых германцами в той кровавой брани народов, свидетелями которой суждено нам быть». Когда весь наш народ волею судеб призван к ужасному бранному делу, когда десятки и сотни тысяч на-

ших сограждан гибнут в невыносимых страданиях на полях бесконечно длительных битв, — мы, русские писатели, художники и артисты, не можем быть только свидетелями: мы всем сердцем нашим, нашим страданием и болью, всей нашей мыслью и душой являемся *участниками* происходящего. И это отнюдь не придирка к неудачному слову: к сожалению, тон именно свидетельства слишком характерно выражен в дальнейшем тексте заявления.

Так, утрированным бескорыстием *свидетеля* звучат эти странные слова: «Уже прорастает широко брошенное ее (Германии) рукой семя национальной гордыни и ненависти; пламенем может перекинуться ожесточение к другим народам. И громко раздадутся тогда голоса ослепленных гневом — голоса требующих мести и отрекающихся даже от всего великого и прекрасного, что было создано гением Германии на радость и достояние всего человечества».

На какие народы, куда пламенем может перекинуться «уже прорастающее семя национальной гордыни и ненависти», как намекает заявление? Кто это уже загорается национальной гордыней и ненавистью: французы, бельгийцы, поляки или мы, русские? И против кого, собственно, тогда этот протест: против германцев, которые разрушили Лувен, или против французов, бельгийцев, нас самих, которые пока еще ничего не разрушили, да и не собираются разрушать? Дальнейшие слова заявления гласят: «Но заставим себя помнить гибельность таких путей...» — очевидно, речь в значительной степени идет о нас самих: направленный против германцев, протест непонятным образом повернулся против самих протестующих, и голос возмущения превратился в шепот страха за самих себя, недоверия к собственной культурности. Странное недоверие! Странная двойственность обоюдоострого протеста, одной рукой поражающего несомненно виновных германцев, а другую руку поднимающего против ни в чем не повинных друзей и самих себя! А что это за робкие слова обо «всем великом и прекрасном, что было создано гением Германии на радость и достояние всего человечества»?

В то время, когда вся радикальная часть действующей и мыслящей Европы идет на ратное поле как на священный подвиг за мир и свободу народов; когда непримиримый антимилитарист Эрве с улыбкой готов послушать «тщеславную песню старого галльского петуха»; когда социалист-министр Вандервельде со слезами собирает документальный материал, свидетельствующий о бесчестии германских войск; когда маститый и глубокочтимый П. Кропоткин называет войну «освободительной» и считает несомненным, что торжество Германии «принесет Европе новое и еще более суровое порабощение»; когда французские синдикалисты уже разоблачили всю двойственность, моральное и идейное бессилие и прусскую сущность германского социализма, — в это самое время русские писатели, художники и артисты с бесконечными колебаниями и грустной нерешительностью что-то говорят о «широко прорастающем семени национальной вражды и ненависти», пламя которых «может перекинуться и на другие народы», трогательно заботятся о «гении Германии», совершенно умалчивая о том, что и у французского народа, и у нашего, и у бельгийского и т. д. также есть свой гений, создавший немало прекрасного и великого. Вместо ясного, твердого и смелого утверждения нашей *воли* к войне и победе над реакционной Германией, свинцовым грузом вот уже десятки лет лежавшей и на на-

шей свободе, писатели, художники и артисты в своем воззвании к «родине и всему цивилизованному миру» дают что-то половинчатое и бессильно-интеллигентское, сложившееся под множеством противоречивых влияний. Еще раз: я глубоко убежден, что многие из подписавшихся думали и чувствовали гораздо больше, сильнее и ярче, чем это дано в заявлении, имеющем, помимо прочего, характер некоторой случайности, — но оно является фактом, с которым все мы вынуждены считаться. И поскольку и мой голос, как немолодого уже писателя, является важным наряду с другими голосами, я зову отнюдь не к раздору, не к разъединению сил, а, наоборот, к вящему их и крепчайшему соединению в борьбе за наше общее благо и священную цель: человечность.

## II

И прежде всего, к гордости нашей, я не вижу решительно никаких оснований опасаться, чтобы мы, в России, ослепленные гневом или ненавистью, когда-либо «отреклись от всего великого и прекрасного, что было создано гением Германии». Те обычные при всякой войне отрицательные явления, как крикливый патриотический лубок, травля отдельных немецких подданных<sup>1</sup>, отказ (да и то временный) ставить пьесы немецких авторов, — имеют значение поистине ничтожное и остаются на низинах нашей жизни; да и тут надо быть справедливым к себе и сказать по чистой совести, что даже такие проявления духа слепого и темного в этот раз чрезвычайно редки и малозначительны. Важно отметить, что наша архаически-реакционная печать, которая обычно и бывала создательницей патриотического неприличия и дико-воинственного шума, в этот раз не без основания настроена против войны и гораздо даже более, чем мы, заботится о германском гении, горькими слезами оплакивает Вильгельма, которому хоть и удалось разрушить «жидовский Лувен», но дальше идти не даст все тот же «жидовский кагал». Сейчас не настолько хороша погода, чтобы подробнее выяснить всю важность и значительность этого факта; важно лишь то, что с низов нам не приходится ожидать отречения от даров германского гения, а скорее наоборот: излишнего их утверждения. Что же касается интеллигенции нашей, то мне кажется смешною сама мысль о том, чтобы когда-нибудь мы отреклись от даров немецкого гения, разлюбили Шиллера, перестали читать Канта и Шопенгауэра, забыли Лассаля и Маркса и в печку выбросили Гёте. При самом сильном напряжении фантазии невозможно вообразить русского музыканта, который отказался бы от Вагнера, русского социолога, мыслителя, философа или практического общественного деятеля, который пренебрег бы колоссальным идейным опытом, накопленным Германией. Это просто невозможно. Но даже и найдись такой, в виде разительного исключения, он не мог бы осуществить своего отказа, не разрушив тем самым всей своей личности: дары германского гения уже давно поглощены нами, вошли в нашу кровь и плоть, организовались, стали нашей *наследственностью*.

Ибо наша настоящая русская гордость заключается в том, что мы, по счастью, умеем ценить, любить и почитать все великое и прекрасное, под какими бы широта-

<sup>1</sup> К числу наиболее отвратительных явлений такого порядка относятся погромы германских магазинов, имевшие место в Англии и, на днях, у нас в Москве; но и здесь дело не в «германском гении», а в том, что доселе ни один еще народ не избавлен от позора — иметь свою умственную и моральную чернь.

ми и в каком бы народе оно ни родилось. Начиная с призыва варягов и Владимира, искавшего за морем лучшую веру для своего народа, продолжая Великим Петром и поднеся — Россия с ненасытимой жадностью зовет к себе учителей изо всех стран, с радостью приветствует всякий талант, который может ей хоть что-нибудь дать, широко раскрывается для идеи. И естественно, что старый и богатый Запад, сам вскормленный молоком Рима и Греции, корни своей мощной культуры скрывающий в неисследимой глубине прошлого, стал для нас неиссякаемой сокровищницей идейного, тысячелетиями накопленного опыта.

Но если Европа, по слову Достоевского, является для нас второй и даже первой родиной, то для идеи Европы Россия давно уже стала вторым отечеством, порою лучшим, чем первое, — подобно Америке для эмигрантов. Нигде так хорошо не живет идея, нигде она не имеет столь страстных прозелитов, как у нас; и на каком бы языке ни начал говорить писатель и философ, он очень быстро становится русским, переживается нами с болью и трепетом, занимает почетное место в божнице.

Нынешней весной мне пришлось слышать жалобы в Риме, что при наличности своей довольно бедной текущей литературы, итальянцы совсем не переводят и не знают не только нас, русских, но и англичан, и французов, и немцев. Те же жалобы слышал я много лет назад и в Берлине, хотя и не в столь резкой форме; последнее же время, как известно, сами немцы жалуются на другое: на засилье в Германии русской литературы, что воистину смешно и может свидетельствовать только об ихней нетерпимости: переведено в Германии ничтожное количество русских произведений. Но и Франция, и Англия, и Америка также мало переводят у себя иностранцев, довольствуясь собственной литературой, что далеко не всегда оправдывается ее настоящим состоянием.

И конечно, они от этого теряют, ибо теряет всякий, кто не *знает*. Варясь в собственном соку, не расширяя сферы чувственного и идейного опыта введением новых и расово чуждых элементов, женись, так сказать, на кровных, — они суживают свое мирозерцание и мироощущение, а *национальное свое сгущают* порой до степени уродства, чему пример та же самодовлеющая и ограниченная Германия.

Как известно, германцы мечтают в лице своем возродить могучую Римскую империю, и в этой романтической мечте своей черпают даже особые силы. Но они забыли, что одним из древнейших зданий Рима является *Пантеон*, что у широко смотревших римлян, наряду с их римской идеей, существовал и алтарь «неведомому богу». И им не удастся стать новым Римом, пока место Пантеона у них занимает Аллея Побед и алтари ставятся только Бранденбургским Курфюрстам. Излишек национально-сгущенного самочувствия хорош только при защите, когда слабому приходится отстаивать свою самобытность перед лицом сильнейшего, но при нападении с широкими целями он вреден.

При этих условиях опасаться, что мы когда-нибудь можем отречься от даров немецкого гения, повторяю, нет никаких оснований. Можно почти с уверенностью сказать, что ни один народ не обладает даром такого совершенного *понимания* красоты и величия, как русский, такой широтой и *свободой* восприятия, не связанного мелкими национальными или иными чувствами. В этом наше богатство; этим свойством нашим объясняется и тот необыкновенно быстрый рост России за последнее

столетие, которого мы сами как будто не замечаем и не ценим единственно по скромности. Отсталые во многих других отношениях (что мы и сами хорошо знаем), — в области духовной культуры мы достойны идти рука об руку с наиболее передовыми народами света; и никаким силам реакции никогда не удастся втиснуть наш свободный и широкий дух в узкое русло национализма с его ужасной нетерпимостью и подменой высокого солнца, для всех равно сияющего, местными фонариками.

И совершенно излишне, как то сделано в воззвании писателей, художников и артистов, — «напоминать гибельность таких путей»; наш путь намечен давно, и колеи его так глубоки, что не случайностям даже мировой войны стереть и заглазить их.

### III

И как мы не откажемся от Шиллера, — раньше германцы сделают это, — так не сделаемся мы шовинистами и милитаристами, каков бы ни был исход войны. И в этом отношении некоторый страх воззвания, что «пламенем может перекинуться ожесточение к другим народам», и напоминание «гибельности такого пути» мне представляются необоснованными, вызванными не столько реальными объективными причинами, сколько субъективным настроением людей, несвоевременно занявших свидетельскую скамью.

Стоит даже только поверхностно оглянуться на пройденный нами исторический путь, чтобы убедиться [...] русского народа для культа милитаризма [...]. Наше воинство всегда имело ограниченно деловой и рабочий характер, были ли это стрельцы Грозного или даже по прусскому образцу («гений Германии») обученные и организованные солдаты Павла Первого; с развитием же в России гражданственности и с осуществлением всеобщей воинской повинности, [...] славная армия наша стала лишь частью по необходимости вооруженного народа. [Специфический «воинский дух», самодовлеющее горение на алтаре Марса,] [...] [гордое самоуслаждение и самообожание, какое находим мы в германской армии, всегда были чужды русскому воинству.

Когда я вижу на улице Берлина только трех солдат, марширующих со вкусом и необыкновенной энергией, или трех таких же офицеров, гуляющих по Тиргартену и среди дружеской беседы не теряющих всей строгости прусского равнения, они дают мне больше чувства войны, чем целый корпус наших солдат, проходящих по Москве или Петрограду.] Нельзя объяснить, не нарисовав, в чем тут особенность: она во всем жреческом облике прусских героев, точно в каждую минуту предстоящих богу войны и крови, она в самом воздухе Берлина, в мрачном виде его марширующих домов и стратегически распланированных улиц. Там — это каста, там это избранные, красота для красоты, искусство для искусства. Они не часть народа, как в России, а весь народ только материал для них, стремя для их ноги. Там частное поглощает целое, армия покрывает народ.

И этой связью нашей армии с народом как с целым многое объясняется в истории наших неудачных и удачных, как настоящая, войн. [Если германец еще со времен ландскнехтов готов драться и убивать кого угодно, не доискиваясь причин и поводов, то у нас только «народные» войны, понятные если не разуму, то чувству народа, ведут наши войска к победе и вскрывают в них такую силу, такое несокрушимое упорство, такую высокую доблесть, перед которой с недоумением останавливаются

противники, обманутые нашими неудачами в какую-нибудь японскую войну.] Войска как будто те же и все то же, с той лишь невыгодной разницей, что противник гораздо сильнее и страшней, а эффект совсем другой, весьма неожиданный. Но неожиданный для них, которые так мало нас знают, он не должен удивлять нас: мало пригодные для авантюры [и милитаристских наскоков,— для войны с высшими целями], наши войска обладают *всею* силою и доблестью народа.

И ожидать, что ожесточение и ненависть перекинутся к нам, что волна безудержного прусского милитаризма может подхватить и нас, — нет никаких оснований, кроме излишнего недоверия к себе и своим далеко еще не испробованным силам. Те же всем известные отклонения от начертанной мною схемы, которыми достаточно обильно наше далекое и недавнее прошлое, в значительной степени навязаны и нам извне и родиной своей — как это ни странно — имеют все ту же Германию, с которой ныне так мужественно и самоотверженно борется Россия. И вовсе не надо нам, писателям, брать под свою высокую руку и охрану «гений Германии», с его великим и прекрасным. Поскольку он действительно гений, он не нуждается ни в чьей защите и предстательстве, а наоборот, сам защищает нас, устами Гейне, Шиллера поддерживая нас в борьбе с теперешней Германией; а поскольку его истинная сущность искажена иными многообразными проявлениями германского ума, силы и таланта — нам надлежит подвергнуть его серьезной, основательной, вдумчивой и честной проверке и без дальнейших колебаний отделить пшеницу от плевел.

Это следовало сделать уже давно, а теперь, когда Россия вступает в новую историческую фазу существования, это сделать необходимо... Да, я понимаю тот честный страх, который могут вызвать мои слова, и сам отчасти разделяю его. Действительно, до самого последнего времени борьба в России за нашу самобытность носила чрезвычайно непривлекательный характер и даже в самых честных руках вскоре превращалась в орудие реакции и порабощения слабейших; и очень страшно при таких условиях вступать в борьбу с германизмом, предчувствуя, что нежелательные союзники очень быстро исказят и загадят смысл наших поступков и на место необходимой переоценки ценностей подставят глупейшую «германофобию». Но — условия меняются с каждым днем, мы это видим. А затем — в данном случае мы будем иметь дело не с слабейшим, не с тем, зависимое и бесправное положение которого должно удерживать на наших устах даже самые справедливые упреки: нет, мы имеем и будем иметь дело с [сильнейшим и уже во всяком случае] равносильным.

И как в войне с Германией мы являемся стороной обороняющейся, а не нападающей, так и здесь, в борьбе с германизмом, задача наша ограничивается самообороной, *возвращением духа нашего в его естественные границы*, восстановлением тех особенностей нашей души, мышления и жизни, морали и эстетики, политики и общественности, на которых с давних пор лежит тяжелое ярмо пруссачества. Ведь если про Германию говорят немецкие мыслители, что в последние годы она подверглась «опруссению», то с не меньшим правом это может быть сказано и про Россию, ее ближайшую соседку, ее материальный, идейный и политический рынок.

Работа предстоит огромная, и только при высочайшем напряжении всех духовных сил страны она может быть приведена к надлежащему концу. Дело не в криках, как бы громки они ни были, не в язвительных насмешках, не в бойкоте всех немец-

ких фамилий и немецких мыслей — [все это вредные пустяки, которые кончатся вместе с войной.] Необходим вдумчивый, спокойный и честный анализ всех отклонений нашей жизни, начиная со школы, построенной вовсе не по классическому, а чисто прусскому образцу, и кончая самой манерой нашей мыслить и чувствовать; начиная с бюрократии нашей и кончая нашими способами ведения общественной борьбы. Ибо, поистине, мы сами не знаем той границы, где кончается давнишнее, вековое опрощение русской жизни и русского духа.

Как наши аракчеевские военные поселения вовсе не были изобретением русского ума, а пришли к нам из Германии и явились как бы прообразом и предчувствием того, во что должна будет превратиться сама Германия, — так и многие другие отвратительные стороны нашей жизни представляются мне заимствованными из того же мутного источника. Всякие наши «анти» и «фобии», [страстное обожание дисциплины,] от которого порою не могут уйти даже свободнейшие, постоянные попытки начала живой жизни подменить началами механическими, разрушение сложной личности и сведение ее к узкой абстракции, [пышный расцвет полицейских начал —] все это в значительной степени данайские дары «германского гения», принятого вовнутрь целиком. Превосходные мыслители, но очень плохие психологи, единственные в мире логики, но не провидцы, не художники, не пророки, — они самый мир живых идей подчинили железной армейской дисциплине и табель о рангах ввели в философию. Не это ли имел в виду Роллан, когда бросил крылатое слово о «милитаризации интеллектуальной сферы»?

Когда началась война и печать всего мира заговорила о Вильгельме, я невольно вспомнил щедринского Угрюм-Бурчеева и с тех пор не могу отделаться от этого образа. Это он, с его стеклянным невидящим взором и непреклонным идеализмом, дико отрицающий реальный мир с его живыми силами; это он, решивший остановить течение реки, разъяренный, обиженный, не понимающий, почему не останавливается река; это он, Аракчеев, с его неописуемо тупой мечтой о военных поселениях, о человеке, превращенном в заводную куклу, о времени, претворенном в механические часы. Теперь этот же самый модернизированный Аракчеев-Вильгельм пытается с такой же яростью остановить течение всей жизни — и мы видим, сколько ужасов, сколько крови, страдания и слез принесло это человечеству.

И, протестуя в своем заявлении против вандализма и зверства германцев, писатели, художники и артисты остановились, к сожалению, на полдороге, а потом чуть ли не повернули назад: к охране того самого «гения Германии», который наряду с прекрасным создал и нынешний кровавый день. Ведь нет же на свете ничего случайного, и не может быть случайным вандализм, и зверство, и самый милитаризм, и думать иначе значило бы в самом корне подрывать наше право и способность судить о вещах. Пусть даже капитализм — но если при одинаковых условиях развития капитализма во Франции и Германии немцы зверствуют, а французы нет; если они зверствовали и вандализировали еще в 71-м году, то надо же поискать другую, не столь механически-немецкую причину. Вот в собрании религиозно-философского общества г. Эрн провел прямую линию от Канта к Круппу; я не знаю, насколько доказательна была его речь, чувствуется излишняя поспешность и резкость в его выводах, но, во всяком случае, она ставит вопрос глубже и правильнее, чем то сделали писатели в своем неудачном

заявлении. Да и сами они, упоминая о германских «поэтах, ученых, вождях общественных и политических, которые добровольно» вступили в союз с милитаризмом, невольно выводят вопрос за узкие рамки безответственной случайности.

И главной причиной неудачности заявления «от писателей, художников и артистов» является, как можно думать, то обстоятельство, что время еще не наступило для такого протеста. [Как самая] война [застала нас врасплох, так] и связанные с нею и ею возбуждаемые вопросы еще только смутно намечаются в тумане кроваво-дымных далей. Каждый день мы меняемся, сами того не замечая, и недалеко то время, когда наши же портреты, написанные с нас перед самой войной, потеряют всякое сходство и будут казаться почти карикатурой. Половинчатость и нерешительность заявления есть, несомненно, половинчатость настроений и чувств *начала войны*, когда ушедший мир так еще близок и самые новые чувства продолжают вливаться в старые мехи. Надо ждать и думать. Вопрос же об освобождении России от злых чар германизма настолько важен и серьезен, что надо много времени и спокойного труда для правильного разрешения его.

Но есть непосредственное чувство гнева, жалости и возмущения, которое не может мириться с ужасными фактами сегодняшнего дня, не хочет ждать и не нуждается в спокойствии, чтобы выразить себя. Сожжение Реймского собора, разрушение Лувена и кровавое истребление мирных жителей, женщин, стариков и детей, волнуют всех нас до глубины души, исторгают невольный крик протеста. Но такой протест, мне кажется, может быть достаточно выражен такими немногими словами:

«Мы протестуем и выражаем наше презрение Германскому народу, который совершает бесчеловечные поступки и, совершая, *оправдывает* их; и будем презирать его до тех пор, пока он не станет *другим*, и сам, своей державной рукой, не покарает истинных виновников, заливших землю кровью, растерзавших Бельгию, отнявших у матерей детей и явивших миру неслыханные примеры гнусной жестокости».

## КОММЕНТАРИИ

### В сей грозный час

Бирж. вед. 1914. № 14540 (7 дек.). Утр. вып. С. 2.

*...она находится «в состоянии войны с Россией»...* — Вечером 19 июля (1 августа) 1914 г. германский посол Ф. Пургалес вручил министру иностранных дел Российской империи С.Д. Сазонову официальную ноту Германии о «состоянии войны» с Россией.

*...в категорических императивах догмы...* — Понятие «категорического императива» сформулировано немецким философом И. Кантом в его труде «Основы метафизики нравственности» (1785).

*...идеже несть печали ни воздыхания.* — «...где нет ни печали, ни скорби»; из православной молитвы об умерших: «Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная».

*...кончая восторгами и кровью девяносто третьего года...* — Имеется в виду год начала террора в эпоху Великой французской революции (1793).

...насаждала крупновизию... — Имеется в виду милитаризация промышленности. «Крупп» — название (по фамилии владельцев) одного из крупнейших металлургических и военнопромышленных концернов Германии.

...жарят разрывными... — Имеются в виду разрывные пули «дум-дум».

...жарят своими «чемоданами»... — «Чемодан» (разг.) — крупнокалиберный артиллерийский снаряд.

Эти ужасные немецкие крематории... — Отношение к крематориям в России того времени было в целом отрицательным в связи с православной традицией погребения мертвых в земле. Крематории стали появляться в России только после Октябрьской революции, в конце 1920-х годов; сторонники кремации были тесно связаны с Союзом воинствующим безбожников.

...снаряды разрушают реймские соборы... — Французский город Реймс был в зоне боевых действий в течение всей Первой мировой войны. В сентябре 1914 г. в результате немецкой бомбардировки Реймский собор сильно пострадал. По первым, сильно преувеличенным слухам, собор был тотально разрушен (см.: *Hellman В.* Реймский собор разрушен! Об одном мотиве в русской литературе времен Первой мировой войны // *Hellman В.* Встречи и столкновения: Статьи по русской литературе. Helsinki, 2009. С. 30–42).

...Вильгельм снова скажет о «силе нервов, которая побеждает»... — Кайзер Вильгельм II в речи к морским солдатам в 1910 г. утверждал, что победа в будущей войне будет достигнута благодаря «крепким нервам» («starke Nerven»). Эти слова он повторил в декабре 1914 г.

## Наши

День. 1914. № 298 (2 нояб.). С. 3.

Пересекая площадь... — Осенью 1914 г. Андреев провел два месяца в частной лечебнице И.Л.Герзони на 5-й Рождественской улице (теперь 5-я Советская улица). Оттуда ему было видна Греческая площадь, место, где ныне стоит концертный зал «Октябрьский».

## Любите солдата, граждане!

Отечество. 1914. № 3 (16 нояб.). С. 2, обл. Без заголовка. Подпись: Л.А.

## Торгующим в храме

Бирж. вед. 1914. № 14470 (2 нояб.). Утр. вып. С. 3.

Статья вызвала ответную реакцию македонских болгар, утверждавших, что, если бы, перед тем как написать эти «жестокые и несправедливые строки», Андреев объехал македонские города и села, отданные Греции и Сербии, и увидел бы «те ужасы, которые греки и сербы творят по отношению к македонским болгарам», он бы понял, «почему болгары не подают руки помощи сербам» ([Б. н.] Письмо македонцев Леониду Андрееву // Бирж. вед. 1914. № 14482 (8 нояб.). Утр. вып.). Писатель, в свою очередь, отозвался на этот отклик, упрекнув болгар в узконационалистическом мышлении (*Андреев Л.Н.* Ответ болгарам-ма-

кедонцам // Бирж. вед. 1914. № 14506 (20 нояб.). Утр. вып. С. 3). Poleмика продолжалась и за пределами России: Мишев Д., Чилингиров С. Леониду Андрееву: Два ответа на его статью «Торгующим во храме». София, 1914.

*Трензели* – приспособление к удилам для сдерживания горячих лошадей.

...пока немецкие мозги и руки везли через вашу страну орудия и бомбы для турок? — 1 ноября 1914 г., после вступления в войну Османской империи, правительство Болгарии официально подтвердило свой нейтралитет. Запрос России о пропуске через территорию Болгарии транспортов с зерном для Сербии был категорически отклонен, но транспорты из Германии и Австрии следовали по территории Болгарии в Османскую империю с разрешения болгарского правительства. Уже эти факты показывали, что болгарские симпатии были на стороне блока Центральных держав. 6 сентября 1915 г. Болгария подписала конвенцию с Германией и в дальнейшем вела военные действия против государств Антанты.

...своими жалобами на какие-то обиды... — По результатам победы Балканского союза над Османской империей в Первой Балканской войне (1912–1913) часть Македонии отходила к Сербии, другая часть к Греции, — в то время как значительный слой болгарского общества считал Македонию исконно болгарской территорией. Это стало причиной Второй Балканской войны в 1913 г. (Болгарии против Сербии и Греции), в которой Болгария потерпела поражение и лишилась значительной части своих территорий.

Когда-то во славу немецких мозгов и кармана вы уже исполнили этот кровавый танец духовной нищеты... — Вторая Балканская война во многом была спровоцирована действиями германской и австро-венгерской дипломатии при противодействии России, пытавшейся сохранить Балканский союз и готовящей миротворческое Петербургское совещание (не состоялось). Болгария напала на Сербию первой, без объявления войны, как раз в преддверии этого совещания.

...Австро-Германия уже собирает железные корпуса на ее границе... — Австро-венгерская армия начала новое наступление 23 октября (5 ноября) 1914 г. Сербы оставили Белград 17 (30) ноября. Два дня спустя австро-венгерская армия вступила в город.

...все ужасы Антверпена и Лувена... — После поражения при Льеже бельгийская армия отступила в Антверпен. Свои бомбардировки города германцы начали 15 (28) сентября. Осада Антверпена заняла 11 дней. Город Лувен (флам. Leuven, фр. Louvain) был обстрелян немецкой артиллерией в августе 1914 г. Город был подожжен, сгорели университетский городок и знаменитая библиотека, большая часть центра оказалась полностью разрушена. В странах Антанты судьба Лувена стала символом «тевтонского варварства».

*Загорожа* — загон.

...памятник Александру Второму, который вас создал... — Имеется в виду конный памятник Александру II в центре Софии. Возведен в знак благодарности за освобождение Болгарии от османского владычества в результате Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

### Слово о Сербии

Бирж. вед. 1914. № 14488 (11 нояб.). Утр. вып. С. 2–3.

Статья получила большой общественный резонанс, в редакцию «Биржевых ведомостей» стали поступать сочувственные отклики в виде писем, телеграмм, коллективных и

частных обращений (часть из них была опубликована). Благодарственное письмо прислал сербский посланник в России М.И. Сполайкович. Ответ ему Л. Андреева был напечатан в газете под заголовком «Сербы и Леонид Андреев» (Бирж. вед. 1914. № 14540 (7 дек.). Утр. вып. С. 3.

*Привислинский край* — в Российской империи общее название десяти губерний Царства Польского. Его центр — Варшава.

*Галицийцы* — население Галиции, поляки и русины. К осени 1914 г. российскими войсками была занята практически вся восточная часть и часть западной Галиции и было образовано Галицийское генерал-губернаторство.

*...первым убитым в этой великой борьбе народов был серб...* — 16 (29) июля австрийские артиллерийские дивизии начали бомбардировку Белграда через реку Дунай. Днем позже в России была объявлена мобилизация в приграничных районах военных действий областях, что стало формальным поводом для объявления ей войны со стороны Германии.

*...со своим королевичем Александром...* — Александр I Карагеоргиевич (1888–1934) — принц-регент Сербии (1914–1921), король сербов, хорватов и словенцев (1921–1929), король Югославии (1929–1934). Во время Первой мировой войны верховный главнокомандующий сербской армии.

*...выдержала трехлетнюю войну...* — Балканские войны на самом деле длились один год, с октября 1912 до августа 1913 г.

*...это называется карательной экспедицией...* — Австро-Венгрия официально заявила, что вторжение в Сербию не имеет целью ее аннексию, а является «карательной экспедицией» с целью наказать сербское правительство, которое попустительствует терроризму» (подразумевалось убийство в Сараеве наследника престола Франца Фердинанда студентом-террористом и недовольство Австро-Венгрии ходом расследования этого преступления).

*«Было так страшно, что я не чувствовал страха», — говорит покойный Семенов, описывая гибель при Цусиме броненосца «Суворов»...* — Владимир Иванович Семенов (1867–1910) — капитан 1-го ранга, участник Цусимского сражения; русский прозаик, автор трилогии, созданной на основании собственных дневников, — «Расплата», «Бой при Цусиме» и «Цена крови» (1906–1909).

*...как это сделал Вандервельде по отношению к германским зверствам в Бельгии...* — Эмиль Вандервельде (1866–1938), бельгийский государственный деятель, социалист. Когда началась война, Вандервельде стал первым членом бельгийской Рабочей партии, который был избран премьер-министром. В сентябре он посетил Америку в качестве члена бельгийской комиссии, доложившей американскому президенту Вильсону о немецкой военной политике в Бельгии.

*Вертхайм* (Вергхайм, Wertheim) — монументальный универмаг на Лейпцигской площади (Leipziger Platz) в Берлине, построен в 1896–1906 г. известным архитектором А. Месселем, в свое время считался самым большим универмагом Европы. Здание разрушено во время Второй мировой войны.

*Аллея Победы* (Siegessallee) — бульвар в берлинском парке Тиргартен, построен в 1895–1901 гг. На нем было установлено 32 мраморных памятника всем маркграфам, курфюрстам Бранденбурга и королям Пруссии, правившим в период с 1157 по 1888 г. Статуи были убраны в 1938 г.

...еще недавно кричал на нас К. Либкнехт, — варвары, вас надо выкинуть за Урал! — Карл Либкнехт (1871–1919) — деятель германского и международного рабочего и социалистического движения, один из основателей (1918) Коммунистической партии Германии. Реагируя на статью Андреева, Максим Горький писал: «Могу его уверить, что он введен в заблуждение каким-то клеветником. Карл Либкнехт не говорил и не мог сказать приписанных ему слов. Он искренно любит Русь и русских, он человек очень стойкий в своих мнениях. Эта стойкость доказана им точно так же, как он доказал свое прекрасное отношение к русским тою умной и деятельной помощью нашим соотечественникам, которую он организовал в Берлине в первый месяц войны» (*Горький А.М. Несвоевременное // Горький А.М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 24. С. 161*). Статью Горького должна была опубликовать газета «День» 5 декабря 1914 г., но не пропустила цензура. Антимилитаристская позиция Либкнехта отражена, например, при голосовании в рейхстаге возглавляемой им фракцией социал-демократов против увеличения военного займа, в заявлениях об империалистическом характере войны и т. п. (см., например: Чего ждет Германия от войны: Беседы с германскими общественными деятелями. СПб., 1915. С. 52–55, 76).

### Бельгийцам

День. 1914. № 286 (21 окт.). С. 3.

В самом начале войны германское командование потребовало от властей нейтральной Бельгии пропустить кайзеровские войска через ее территорию (для дальнейшего наступления на Францию). После отказа в ночь на 4 августа германские части без объявления войны перешли бельгийскую границу и начали оккупацию страны.

*Бранденбургер-Тор* (Brandenburger Tor) — Бранденбургские ворота, архитектурный памятник в центре Берлина. Создан в 1788–1791 гг.

*Фридрих-Штрассе* (Friedrichstraße) — улица в центре Берлина. Названа в честь курфюрста Бранденбурга Фридриха III.

*Вертгейм* — Вертхейм (Wertheim); см. выше коммент. к ст. «Слово о Сербии».

...у памятника Вильгельму... — Монументальный памятник кайзеру Вильгельму I был расположен у Кафедрального собора на Замковой площади Берлина. Демонтирован в 1949 г.

...«наши кузены с того берега»... — Выражение «Our cousins on the other shore» («Наши кузены с того берега») употреблялось прежде всего, когда американцы говорили об англичанах или англичане об американцах.

...король Альберт... — Альберт I (1875–1934), король бельгийцев с 1909 г. В Первую мировую войну главнокомандующий бельгийской армией. При большом превосходстве противника бельгийцам пришлось отступить и оставить Брюссель, но до конца войны они во главе со своим королем удерживали небольшой плацдарм на своей территории.

*Гох* (нем. Noch!) — Да здравствует!

## Бельгия Монолог

Бирж. вед. 1915. № 14720 (11 марта). Утр. вып. С. 2.

*...укрыло меня, бесприютную, мое старое, милое море.* — При отступлении в ходе боев во Фландрии в конце октября 1914 г. бельгийцам удалось перегруппировать свою армию и затопить низменный берег Изера водой, открыв шлюзы дамбы во время прилива. Немцы были вынуждены отойти с затопленных позиций и прекратить в этом районе активные действия.

*Во имя короля, во имя закона, во имя свободы поднимаю я меч!* — Аллюзия на слова из припева-девиза гимна Бельгии «La Brabançonne» («De Brabançonne»): «Le Roi, la Loi, la Liberté!» («За короля, за закон, за свободу!», *фр.*). Вскоре Андреев написал пьесу об оккупации Бельгии под названием «Король, закон и свобода».

## О Бельгии К анкете для «Книги короля Альберта»

Бирж. вед. 1914. № 14472 (3 нояб.). Утр. вып. С. 3.

В Англии был издан сборник «King Albert's Book: A tribute to the Belgian king and People from Representative Men and Women throughout the World» (L., 1914). Книга была вскоре переведена и на русский язык — «Книга короля Альберта. Посвящается бельгийскому королю и его народу представителями народов и государств всего мира» (М., 1915) с приложением русского отдела. Он открывался статьей Андреева «Бельгийцам». В отдел также вошли статьи Д. Мережковского и А. Куприна и стихотворения Ф. Сологуба («Утешение Бельгии»), А. Блока («Антверпен»), И. Северянина («Поэза о Бельгии») и З. Гиппиус («Три креста»).

## Франция — прости!

Бирж. вед. 1914. № 14400 (28 сент.). Утр. вып. С. 4.

*Я не знаю точной даты, когда стихотворение написано...* — Стихотворение Пьера Жана Беранже (1780–1857) «Прощай» («Adieu») было опубликовано посмертно, без датировки, в 1858 г.

*Иды* — в римском календаре дни в середине месяца. В переносном смысле — роковые дни (благодаря фразе: «Берегись мартовских ид!» из пьесы У. Шекспира «Юлий Цезарь»)

*...война с пруссаками...* — Франко-прусская война (1870–1871) — военный конфликт между империей Наполеона III и германскими государствами во главе с Пруссией.

*Нет смерти для того, кто любит родину...* — В журнале «Жизнь и суд» Андреев нашел очерк «Как умирают японцы за родину свою, воюя с германцами» и опубликовал его вместе с другим рассказом отдельной брошюрой под общим заголовком «Нет смерти для того, кто любит родину» (Пг., 1914). Далее в статье частично излагаются события, связанные с подвигом японского офицера Косумы.

*При осаде Циндао...* Циндао — германская военная крепость-порт на территории Китая (с 1898). Осада Циндао была первой (и фактически единственной крупной) военной опера-

цией Японии (при поддержке Британии) после объявления ею войны Германии. Продолжалась со 2 сентября по 7 ноября 1914 г., закончилась победой японцев.

*Микадо* – один из титулов японского императора.

*Смерть, где твое жало?* — Ос 13:14. Выражение вошло в молитву Иоанна Златоуста «Слово возгласительное на Пасху», читаемую в православной церкви.

*Курочкин* Василий Степанович (1831–1875) — русский поэт-сатирик, журналист, известный переводчик Беранже. Его перевод стихотворения «Прости» датирован 1859 г. и опубликован в книге «Песни Беранже. III» (СПб., 1862).

## Крестоносцы

Отечество. 1914. № 5 (6 дек.). С. 82–85.

*...Иерусалим снова становится ареной кровавой борьбы...* — В начале Первой мировой войны Палестина была частью Османской империи. Военные действия здесь начались после вступления Турции в войну на стороне Центральных держав в конце 1914 г. Войски Антанты отвоевали Иерусалим только в декабре 1916 г.

*И снова появились «неверные», гортанным кличем зовут к священной войне...* — Османская империя вступила в войну (на стороне Германии и Австро-Венгрии) 2 ноября 1914 г.; был объявлен «джихад» («священная война»).

*Как будто не достаточно было одних германцев в их христианском домино...* — Домино — в Средневековье — длинный зимний плащ с капюшоном у монахов и священнослужителей.

*Белокурая бестия* (нем. die Blonde Bestie) — выражение принадлежит немецкому философу Фридриху Ницше, который в своей работе «К генеалогии морали» (1887) сравнивает поведение представителей высшей расы (аристократов) с поведением льва (от *ср.-в. лат. blondus bestia* — букв.: желтый зверь): «В основе всех этих благородных рас просматривается хищный зверь, роскошная, похотливо блуждающая в поисках добычи и победы *белокурая бестия*; этой скрытой основе время от времени потребна разрядка, зверь должен наново выходить наружу, наново возвращаться в заросли — римская, арабская, германская, японская знать, гомеровские герои, скандинавские викинги — в этой потребности все они схожи друг с другом» (*Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 428*) В пропагандистских целях выражение использовалось в Германии в эпохи Первой и Второй мировых войн.

*...слух, что Вильгельм II, император германский, вознамерился принять Ислам...* — По слухам, Вильгельм II объявил себя *Маккаh-Pilger* (т. е. совершившим хадж (al-Hajj), паломничество в Мекку) и принял ислам. Среди иранцев, например, долго ходили рассказы о *Hajj Wilhelm Muhammad* (Хаджи Вильгельм Мухаммад). Эти легенды, вероятно, связаны с работой немецкой дипломатии и разведки в мусульманских странах в начале XX в. с целью подорвать в них влияние Англии и России, спровоцировать «джихад» («священную войну») и т. п.

*«Вице»* (нем. Witze) — шутка.

*Возрождение Польши...* — 9 (22) августа 1914 г. был издан манифест великого князя Николая Николаевича (в то время верховного главнокомандующего), в котором говорилось о необходимости объединения всех польских земель, а также о создании свободной в своей вере, языке и самоуправлении Польши.

## Номо

Отечество. 1914. № 3 (16 нояб.). С. 61–64.

*А не то просто налетит один на другого, как наш Нестеров...* — Петр Николаевич Нестеров (1887–1914) — русский военный летчик, штабс-капитан. Погиб 26 августа (9 сентября) 1914 г. в воздушном бою, впервые в практике боевой авиации применив таран.

*...эта стреляющая фантастическая птица презирает смерть, зная что-то высшее, чем она.* — Этой теме посвящен рассказ Андреева «Надсмертное» (Современный мир. 1914. № 1. С. 3–18), позже переименованный в «Полет».

## Восхождение

Бирж. вед. 1914. № 14436 (16 окт.). Утр. вып. С. 2–3.

*...внезапное отрезвление России...* — В самом начале Первой мировой войны был издан царский указ о запрещении производства и продажи всех видов алкогольной продукции на всей территории России. Торговля алкогольными изделиями сначала была прекращена (с 31 июля 1914) на время мобилизации, но позже запрет продлили на все время войны. Крепкие алкогольные напитки продавали только в ресторанах.

*...народ, на Сенной площади потерявший Помяловского.* — Николай Герасимович Помяловский (1835–1863), русский писатель. Его раннюю смерть объясняют апатией и пьянством, вызванными неудачами личного характера: «<...> под конец жизни страсть к вину приняла в нем невероятные размеры. В самых грязных трущобах, на Сенной, отыскивал он каких-то приятелей и целые недели проводил с ними в оргиях и бесшабашном кутеже. Приходя в себя, П<омяловский> сам ужасался своего положения и чувствовал, что заходит очень далеко; своей страсти он боялся. “Это болезнь, — говорил он, — страшная болезнь, которая медленно разлагает человека и даже доводит до подлости — я этого больше всего трушу...”» (Городецкий Б. Помяловский, Николай Герасимович // Русский биографический словарь. [Т. 14]: Правильщиков–Примо. СПб., 1905. С. 499).

*Катцен-яммер* (нем. Katzenjammer) — похмелье.

*...свободная Польша, для которой осуществилась «мечта ее дедов и прадедов».* — В манифесте великого князя Николая Николаевича, посвященном объединению Польши (см. коммент. к ст. «Крестоносцы»), говорится: «Пробил час, когда заветная мечта ваших отцов и дедов может осуществиться».

*Если уже выходит из могилы Лазарь, трехдневный мертвец, обвитый пеленами...* — По библейской легенде, Иисус Христос воскресил Лазаря через **четыре** дня после его смерти (Ин 11,17). Подобная вольность допущена Андреевым и в его рассказе «Елеазар» (1906).

## Освобождение

Отечество. 1914. № 1 (2 нояб.). С. 6–15.

*В московских газетах опубликован протест...* — Открытое письмо «По поводу войны. От писателей, художников и артистов», о котором идет речь в статье, было опубликовано

в газетах «Русское слово» (1914. № 223, 28 сент.), «Биржевые ведомости» (1914. № 14288, 28 сент.), «Русские ведомости» (1914. № 223, 28 сент.), «Утро России» (1914. № 235, 29 сент.). Воззвание подписали 259 человек — почетные академики К. Арсеньев, И. Бунин, А. Веселовский, Н. Котляревский, Д. Овсянко-Куликовский, представители общественных организаций, театров, писатели, художники, ученые (Ф. Шаляпин, М. Горький, К. Станиславский, Е. Вахтангов, И. Шмелев, Ф. Корш, П. Струве, М. Ермолова и др.). Судя по всему, одним из инициаторов письма был И.А. Бунин (сохранилось его письмо-приглашение к Вл.И. Немировичу-Данченко участвовать в обсуждении воззвания 13 сентября 1914 г. в московском Литературно-художественном кружке — *Бунин И.А. Письма. 1905–1919. М., 2007. С. 310*). Андреев к ознакомлению с воззванием привлечен не был. 10 октября 1914 г. он писал Бунину: «Иван Алексеевич. Хотя я не вполне согласен с текстом заявления писателей, напечатанным в “Утре России”, и не мог дать своей подписи, Вы, находясь в Петрограде и собирая подписи некоторых петроградских писателей, должны были обратиться и ко мне. Не сделал этого, Вы совершили дурной и не товарищеский поступок, что дает мне основания прекратить личные наши отношения и просить Вас отныне не считать меня в числе Ваших знакомых» (Вопр. лит. 1969. № 7. С. 173–174).

*...мрака, в который добровольно вступила она, ныне поощряемая даже своими поэтами, учеными, вождями общественными и политическими.* — Имеется в виду так называемое «Письмо 93-х» — обращение к мировой общественности немецкой культурной элиты, опубликованное во многих немецких газетах 22 сентября (4 октября) 1914 г., в котором «представители немецкой науки и искусства» заявляли перед всем культурным миром протест против лжи и клеветы, которыми «наши враги стараются загрязнить правое дело Германии в навязанной ей тяжелой борьбе за существование». В нем отвергались обвинения в том, что Германия являлась виновницей войны, нарушила нейтралитет Бельгии, посягала на жизнь бельгийских мирных граждан, ее войска зверствовали при взятии Лувена, вообще нарушали международное военное право. Главное же, в этом коллективном письме было утверждение единства культуры и государства, интеллектуалов и армии: «Неправда, что война против нашего так называемого милитаризма не есть также война против нашей культуры, как лицемерно утверждают наши враги. Без немецкого милитаризма немецкая культура была бы давным-давно уничтожена в самом зачатке. Германский милитаризм является производным германской культуры, и он родился в стране, которая, как ни одна другая страна в мире, подвергалась в течение столетий разбойничьим набегам. Немецкое войско и немецкий народ едины. Это сознание связывает сегодня 70 миллионов немцев без различия образования, положения и партийности.

Мы не можем вырвать у наших врагов отравленное оружие лжи. Мы можем только взывать ко всему миру, чтобы он снял с нас ложные наветы. Вы, которые нас знаете, которые до сих пор совместно с нами оберегали высочайшие сокровища человечества, — к вам взываем мы. Верьте нам! Верьте, что мы будем вести эту борьбу до конца, как культурный народ, которому завещание Гёте, Бетховена, Канта так же свято, как свой очаг и свой надел.

В том порукой наше имя и наша честь!»

Вероятно, именно это послание в определенной степени провоцировало появление в российской печати тех лет разнообразных моделей германской «бездушной», «механистической» современной цивилизации и ее сложных связей с классической немецкой культурой.

*...я не заметил, чтобы петроградские газеты перепечатали указанный протест...* — Андреев ошибается: воззвание было напечатано в «Биржевых ведомостях» и некоторых других петроградских газетах.

*...когда непримиримый антимилитарист Эрве с улыбкой готов послушать «тщеславную песню старого галльского петуха»...* — Гюстав Эрве (1871–1944), французский политический деятель. Во Французской социалистической партии возглавлял ультралевое крыло. С 1906 г. издавал газету «La Guerre sociale» («Социальная война»), на страницах которой отстаивал программу антимилитаристской борьбы. На Штутгартском конгрессе II Интернационала (1907) пропагандировал идеи отказа от мобилизации и восстания в ответ на любую войну, независимо от ее характера. В 1914 г. перешел на позиции шовинизма, пропаганду которого он вел в своей газете, переименованной в 1916 г. в «La Victoire» («Победа»). В статье «Гюстав Эрве» (День. 1914. № 269 (4 окт.). С. 3.) В. Ропшин цитирует слова Эрве из его статьи в «La Guerre sociale»: «Старый галльский петух, ты знаешь, что теперь после победы при Марне, весь мир гордится тобой. Ты знаешь, что мы дети тех, кто сражался при Жемаппе и Вальми, при Аустерлице и Йене, при Мадженто и Сольферино. Старый галльский петух, ты тщеславен и горд. На этот раз, один только этот раз, позволяю тебе громко спеть твою тщеславную песню».

*...когда маститый и глубокочтимый П. Кропоткин называет войну «освободительной» и считает несомненным, что торжество Германии «принесет Европе новое и еще более суровое порабощение»...* — Петр Алексеевич Кропоткин (1842–1921) — русский революционер, один из виднейших теоретиков анархизма, социолог, географ. С 1876 по 1917 г. в эмиграции. В начале Первой мировой войны неожиданно принял отчетливую «проантантовскую», «оборонческую» позицию. Андреев цитирует высказывание одной из его статей: «Если восторжествует Германия, то война не только не будет освободительной: она принесет Европе новое и еще более суровое порабощение» (*Кропоткин П. Письмо второе // Рус. вед.* 1914. №. 229, 5 окт.).

*...погромы германских магазинов ~ у нас в Москве...* — 10 октября 1914 г. в центре Москвы вспыхнули стихийные выступления против немцев и австрийцев, слишком активно, по мнению многих, вовлеченных в экономическую жизнь города. Было разгромлено и разграблено несколько продовольственных лавок и магазинов, принадлежавших немцам.

*Не это ли имел в виду Роллан, когда бросил крылатое слово о «милитаризации интеллектуальной сферы»?* — В статье «Которое из двух зол меньше: пангерманизм или панславизм?», опубликованной в «Journal de Geneve» 10 октября 1914 г., Ромен Роллан писал: «Немецкие друзья мои, или вы странным образом ничего не знаете об умонастроении народов, вас окружающих, или вы нас считаете очень наивными и очень плохо осведомленными. Ваш империализм, только под более цивилизованной внешностью, представляется мне не менее жестоким, чем царизм, в отношении всего того, что может воспротивиться его алчной мечте о всемирном владычестве. Но меж тем как огромная и таинственная Россия, полная молодых и революционных сил, оставляет нам надежду на близкое обновление, — ваша Германия в своей систематической жестокости опирается на культуру слишком древнюю и ученую, чтобы можно еще было надеяться на раскаяние этого старца. И если я питал такую надежду (я питал ее, друзья мои), — вы очень постарались отнять ее у меня, вы, художники и ученые, написавшие это “Обращение”, в котором вы гордитесь тем, что составляете одно целое с прусским милитаризмом. Знайте: ничто нас так не гнетет, нас, латинян, ничто так не

затрудняет дыхания, как ваша интеллектуальная милитаризация. Если бы когда-нибудь, по несчастью, этот дух мог вместе с вами восторжествовать в Европе, я покинул бы ее навсегда. Мне противно было бы жить в ней» (Роллан Р. Собр. соч.: [В 20 т.]. Л., 1935. Т. 18. С. 75).

...г. Эрн провел прямую линию от Канта к Круппу... — 6 октября 1914 г. философ В. Эрн выступал на публичном заседании Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева с речью «От Канта к Круппу», в которой он связывал особенности философии Канта с современным германским милитаризмом. Доклад был опубликован в «Русской мысли» (1914. № 12), вошел в книгу Эрна «Меч и крест» (1915).

*Подготовка текста и комментарии Бена Хеллмана и М.В. Козьменко*